

Эрих Мария РЕМАРК

Черный
obelisk



Эрих Мария Ремарк

Черный обелиск

«АСТ»

1956

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

Ремарк Э.

Черный обелиск / Э. Ремарк — «АСТ», 1956

ISBN 978-5-17-085577-3

В романе «Черный обелиск» (1956) Эрих Мария Ремарк блестяще воссоздал атмосферу Германии 20-х годов. Время между двумя мировыми войнами... Время зарождения фашизма... Время, которое писатель обозначил названием еще одного своего романа – «Время жить и время умирать»... Главный герой, служащий в фирме по изготовлению надгробных памятников, пытается найти ответ на вопрос о смысле человеческого существования. А в эпоху «межвременья» это особенно трудно.

УДК 821.112.2-31

ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-17-085577-3

© Ремарк Э., 1956

© АСТ, 1956

Содержание

I	6
II	14
III	22
IV	32
V	43
VI	53
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Эрих Мария Ремарк

Черный обелиск

Erich Maria Remarque

DER SCHWARZE OBELISK

Печатается с разрешения The Estate of the Late Paulette Remarque и литературных агентств Mohrbooks AG Literary Agency и Synopsis.

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers. Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается

© The Estate of the Late Paulette Remarque, 1956

© Перевод. В. Станевич, наследники, 2015

© Издание на русском языке AST Publishers, 2015

I

Солнце заливает светом контору фирмы по установке надгробий «Генрих Кроль и сыновья». Сейчас апрель 1923 года, и дела идут хорошо. Весна не подкачала, мы торгуем блестяще, распродаем себе в убыток, но что поделаешь – смерть немилосердна, от нее не ускользнешь, однако человеческое горе никак не может обойтись без памятников из песчаника или мрамора, а при повышенном чувстве долга или соответствующем наследстве – даже из отполированного со всех сторон черного шведского гранита. Осень и весна – самый выгодный сезон для торговцев похоронными принадлежностями: людей умирает больше, чем летом и зимой; осенью – потому, что силы человека иссякают, весной – потому, что они пробуждаются и пожирают ослабевший организм, как слишком толстый фитиль тощую свечу. Так по крайней мере уверяет самый усердный из наших агентов, могильщик Либерман с городского кладбища, а уж ему ли не знать: старику восемьдесят лет, он предал земле свыше десяти тысяч трупов, на комисионные по установке надгробий обзавелся собственным домом на берегу реки, садом, прудом с форелью; профессия могильщика сделала его философствующим пьяницей. Единственное, что он ненавидит, – это городской крематорий. Крематорий – нечестный конкурент. Мы тоже его недолюбливаем: на урнах ничего не заработаешь.

Я смотрю на часы. Скоро полдень, и, так как сегодня суббота, я заканчиваю свой трудовой день. Нахлобучиваю жестяной колпак на машинку, уношу за занавеску аппарат «Престо», на котором мы размножаем каталоги, убираю образцы камней и вынимаю из фиксажа фотографии с памятников павшим воинам и с художественных надгробных украшений. Я бухгалтер фирмы, художник, заведующий рекламой и вообще вот уже целый год состою единственным служащим нашей конторы, хотя я отнюдь не специалист.

Предвкушая наслаждение, достаю из ящика стола сигару. Это черная бразильская. Представитель Вюртембергского завода металлических изделий утром угостил меня этой сигарой, а потом попытался навязать мне партию бронзовых венков. Следовательно, сигара хорошая. Я ищу спички, но, как обычно, коробок куда-то засунули. К счастью, в печке есть еще жар. Я скатываю трубочкой бумажку в десять марок, подношу ее к углям и от нее закуриваю сигару. Топить печку в апреле, пожалуй, уже незачем; это одно из коммерческих изобретений моего работодателя Георга Кроля. Ему кажется, что когда люди скорбят и им еще приходится выкладывать деньги, то легче это сделать в теплой комнате, чем в холодной. Ведь от печали и без того знобит душу, а если к тому же у людей ноги стынют, трудно бывает выжать хорошую цену. В тепле все оттаивает – даже кошелек. Поэтому в нашей конторе всегда жарко натоплено, а нашим агентам рекомендуется зарубить себе на носу: никогда не пытаться заключать сделки в дождь и в холод на кладбище – только в теплой комнате и по возможности после обеда. При таких сделках скорбь, холод и голод – плохие советчики.

Я бросаю обгоревшую десятимарковую бумажку в печку и встаю. И тут же слышу, как в доме напротив распахивают окно. Мне незачем смотреть туда, я отлично знаю, что там происходит. Осторожно наклоняюсь над столом, словно еще вожусь с пишущей машинкой. При этом искоса заглядываю в ручное зеркальце, которое пристроил так, чтобы в нем отражалось упомянутое окно. Как обычно, Лиза, жена мясника Вацек, стоит там в чем мать родила, зевает и потягивается. Она только сейчас поднялась с постели. Наша улочка старинная, узкая, Лизу нам отлично видно, а ей – нас, и она это знает. Потому и становится перед окном. Вдруг ее большой рот растягивается в улыбку, сверкая зубами, она раздражается хохотом и указывает на мое зеркальце. Ее зоркие глаза хищной птицы заметили его. Я злюсь, что пойман с поличным, но делаю вид, будто ничего не замечаю, и, окружив себя облаком дыма, отхожу в глубь комнаты. Лиза усмехается. Я выглядываю в окно, но не смотрю на нее, а притворяюсь, будто киваю кому-то идущему по улице. В довершение посылаю ему воздушный поцелуй. Лиза попадается

на эту удочку. Она высовывается из окна, чтобы посмотреть, с кем же это я здороваюсь. Но никого нет. Теперь усмехаюсь я. А она сердито стучит себя пальцем по лбу и исчезает.

Собственно говоря, не известно, зачем я разыгрываю всю эту комедию. Лиза, что называется, «роскошная женщина», и я знаю многих, кто охотно платил бы по несколько миллионов за то, чтобы наслаждаться каждое утро подобным зрелищем. Я тоже наслаждаюсь, но все же меня злит, что эта ленивая жаба, вылезая из постели только в полдень, так бесстыдно уверена в своих чарах. Ей и в голову не приходит, что не всякий сию же минуту возжаждет переспать с ней. Притом ей, в сущности, это довольно безразлично. Лиза продолжает стоять у окна, у нее черная челка, подстриженная, как у пони, дерзко вздернутый нос, и она поводит грудями, словно изваянными из первоклассного каррарского мрамора, точно какая-нибудь тетка, помахивающая погремушками перед младенцем. Будь у нее вместо груди два воздушных шара, она так же весело выставила бы их напоказ. Но Лиза голая, и поэтому она выставляет не шары, а груди, ей все равно. Просто-напросто она радуется, что живет на свете и что все мужчины непременно должны сходить по ней с ума. Затем она об этом забывает и набрасывается прожорливым ртом на завтрак. А тем временем мясник Вацек устало приканчивает несколько старых извозчичьих кляч.

Лиза появляется снова. Она налепила себе усы и в восторге от столь блистательной выдумки. Она по-военному отдает честь, и я готов допустить, что ее бесстыдство предназначается старику Кнопфу, фельдфебелю в отставке, проживающему поблизости, но потом вспоминаю, что в спальне Кнопфа только одно окно и оно выходит во двор. А Лиза достаточно хитра и понимает, что из соседних домов ее не видно.

Вдруг, словно где-то прорвав плотину тишины, зазвонили колокола церкви Девы Марии. Церковь стоит в конце улочки, и звуки так оглушают, точно валятся с неба прямо в комнату. В то же время я вижу, как мимо второго окна нашей конторы, выходящего во двор, проплывает, словно фантастическая дыня, лысая голова моего работодателя. Лиза делает неприличный жест и захлопывает свое окно. Ежедневное искушение святого Антония еще раз преодолено.

Георгу Кролю ровно сорок лет, но его лысая голова уже блестит, точно шар на кегельбане в саду пивной Боля. Она блестит с тех пор, как я его знаю, а познакомился я с ним пять лет назад. Лысина эта так блестит, что, когда мы сидели в окопах – а мы были в одном полку, – командир отдал особый приказ, чтобы Георг, даже при полном затишье на фронте, не снимал каски, ибо слишком силен был соблазн для самого благодушного противника проверить с помощью выстрела, не огромный ли это бильярдный шар.

Я щелкаю каблуками и докладываю:

– Главный штаб фирмы «Кроль и сыновья»! Пункт наблюдения за действиями врага. В районе мясника Вацека подозрительное передвижение войск.

– Ага, – отвечает Георг. – Лиза делает утреннюю зарядку. Вольно, ефрейтор Бодмер! Почему не надеваете по утрам шоры, как у лошади в кавалерийском оркестре, и не оберегаете таким способом свою добродетель? Разве вы не знаете, каковы три самые большие драгоценности нашей жизни?

– Откуда же я могу знать, господин обер-прокурор, если я и самой жизни-то не видел?

– Добродетель, юность и наивность! – безапелляционно заявляет Георг. – Если их утратишь, то уж безвозвратно! А что на свете безнадежнее многоопытности, старости и холодного рассудка?

– Бедность, болезнь и одиночество, – отзываюсь я и становлюсь вольно.

– Это только другие названия для опыта, старости и заблуждений ума.

Георг вынимает у меня изо рта сигару, мгновение смотрит на нее и определяет, как опытный коллекционер бабочку:

– Добыча взята на фабрике металлических изделий.

Он извлекает из кармана чудесно осмугленный дымом золотисто-коричневый мундштук из морской пенки, вставляет в него мою бразильскую сигару и продолжает ее курить.

– Ничего не имею против конфискации сигары, – заявляю я. – Хотя это грубое насилие, но ты, как бывший унтер-офицер, ничего другого в жизни не знаешь. Все же зачем тебе мундштук? Я не сифилитик.

– А я не гомосексуалист.

– Георг, – продолжаю я, – на войне ты моей ложкой бобовый суп хлебал, когда мне удалось выкрасть его из кухни. А ложку я прятал за голенище грязного сапога и никогда не мыл.

Георг смотрит на пепел сигары. Пепел бел как снег.

– После войны прошло четыре с половиной года, – наставительно отвечает он. – Тогда безмерное несчастье сделало нас людьми. А теперь бесстыдная погоня за собственностью снова превратила в разбойников. Чтобы это замаскировать, нам опять нужен лак хороших манер. Ерго!{ Следовательно! (лат.)} Нет ли у тебя еще одной сигары? Эта фабрика никогда не позволит себе подкупать служащих одной сигарой.

Я вынимаю из ящика стола вторую сигару и отдаю ему.

– Ум, опытность и старость все же иногда идут на пользу, – замечаю я.

Он усмехается и вручает мне взамен сигар пачку сигарет, в которой недостает шести штук.

– А что произошло еще? – осведомляется он.

– Ничего. Клиентов не было. Но я вынужден настоятельно просить о повышении моего оклада.

– Опять? Ведь тебе только вчера повысили!

– Не вчера. Сегодня утром в девять часов. Какие-то несчастные восемь тысяч марок! И все-таки в девять утра это было еще кое-что. А потом объявили новый курс доллара, и я теперь уже не могу на них купить даже галстук, только бутылку дешевого вина. А мне необходим именно галстук.

– Сколько же стоит доллар сейчас?

– Сегодня в полдень он стоил тридцать шесть тысяч марок! А утром всего тридцать тысяч!

Георг Кроль рассматривает свою сигару.

– Уже тридцать шесть тысяч! Дело идет быстрее кошачьего романа! Чем все это кончится?

– Всеобщим банкротством, господин фельдмаршал, – отвечаю я. – А пока надо жить. Ты денег принес?

– Только маленький чемоданчик с запасом на сегодня и завтра. Тысячные и сотысячные билеты и даже несколько пачек с милыми старыми сотенными. Около двух с половиной кило бумажных денег. Инфляция растет такими темпами, что государственный банк не успевает печатать денежные знаки. Новые банкноты в сто тысяч выпущены всего две недели назад, а теперь скоро выпустят бумажки в миллион. Когда мы будем считать на миллиарды?

– Если так пойдет дальше, то всего через несколько месяцев.

– Боже мой! – вздыхает Георг. – Где прекрасные спокойные дни 1922 года? Доллар поднялся в тот год с двухсот пятидесяти марок всего до десяти тысяч. Уже не говоря о 1921-м – тогда это были какие-то несчастные триста процентов.

Я выглядываю на улицу. Лиза стоит у окна, теперь она в шелковом халате, на котором изображены попугаи. Зеркало она повесила на шпингалет и приглаживает щеткой свою гриву.

– Взгляни на это создание, – с горечью восклицаю я. – Оно не сеет, не жнет, но отец небесный все же питает его. Вчера у нее этого халата еще не было. Шелк! Несколько метров! А я не могу наскрести какие-то жалкие гроши на один несчастный галстук.

Георг улыбается.

– Что ж, ты скромная жертва эпохи. А Лиза на всех парусах плывет по волнам немецкой инфляции. Она – прекрасная Елена спекулянтов. На продаже могильных камней не разживешься, сын мой. Почему ты не перейдешь на сельди или на торговлю акциями, как твой дружок Вилли?

– Оттого что я sentimentalный философ и сохраняю верность надгробиям. Ну так как насчет повышения жалованья? Ведь и философам все же приходится одеваться.

– Неужели ты не можешь купить галстук завтра?

– Завтра воскресенье. И он мне нужен именно завтра.

Георг приносит из прихожей свой чемодан. Открыв его, бросает мне две пачки денег.

– Хватит?

Я вижу, что в них главным образом сотни.

– Добавь еще полкило этих обоев, – говорю я. – Здесь самое большое пять тысяч. Спекулянты-католики по воскресеньям, во время обедни, кладут столько на тарелочку да еще стыдятся своей скупости.

Георг скребет себе голый затылок – атавистический жест, утративший в данном случае всякий смысл. Затем дает мне третью пачку.

– Слава Богу, что завтра воскресенье, – говорит он. – Никакого нового курса на доллар не будет. Единственный день недели, когда инфляция приостанавливается. Конечно, Господь Бог не это имел в виду, создавая воскресенье.

– А как мы? – осведомился я. – Уже банкроты или наши дела идут блестяще?

Георг делает длинную затяжку из своего мундштука:

– Мне кажется, никто сейчас в Германии ничего на этот счет о себе уже сказать не может. Даже божественный Стиннес. Скопидомы разорены. Рабочие и люди, живущие на жалованье, – тоже. Большинство мелких коммерсантов – тоже, хотя они об этом еще не догадываются. Блестяще наживаются только те, у кого есть векселя, акции или крупные реальные ценности. Следовательно, не мы. Ну как? Уразумел?

– Реальные ценности! – Я смотрю в сад, где стоит наша продукция. – У нас в самом деле не бог весть что осталось. Главным образом надгробия из песчаника и чугуна. Но мрамора и гранита маловато. А то немного, что есть, твой брат распродаст с убытком. Может быть, самое лучшее совсем ничего не продавать, а?

Георгу незачем отвечать. На улице звенит велосипедный звонок. Слышны шаги, кто-то поднимается по дряхлым ступенькам. По-хозяйски откашливается. Это Генрих Кроль-младший, совладелец фирмы – виновник наших постоянных забот и тревог.

Генрих – невысокий, плотный мужчина с соломенного цвета усами; на нем полосатые пропыленные брюки, стянутые у шиколотки велосипедными зажимами. Он окидывает меня и Георга быстрым неодобрительным взглядом. В его представлении мы – ленивые жеребцы, весь день лодырничаем, а вот он – человек дела, поддерживающий внешние связи фирмы, к тому же несокрушимого здоровья. Ежедневно, едва рассветет, Кроль-младший отправляется на вокзал и потом мчится на велосипеде в самые отдаленные деревни, если наши агенты – могильщики или учителя сельских школ – заявят о чьей-либо смерти. Он довольно обходителен, а его дородность вызывает к нему доверие; поэтому он с помощью двух кружек пива, неизменно вкушаемых утром и под вечер, поддерживает себя на должном уровне. Крестьяне предпочитают низеньких толстяков изголодавшимся верзилам. И костюм у него соответствующий. Он не носит ни черного сюртука, как его конкурент – агент Штейнмейера, ни синего костюма, как разъездные агенты фирмы «Хольман и Клотц», – сюртук слишком напоминает о трауре, синюю пару все носят. Генрих Кроль обычно появляется в выходном костюме – полосатые брюки, черно-серый пиджак, старомодный стоячий воротничок с уголками и галстук

матовых колеров, с преобладанием черного. Два года назад, именно когда он заказывал этот костюм, у него возникло минутное колебание и он задал себе вопрос – не уместнее ли будет визитка, но тут же отверг эту мысль, ибо был слишком мал ростом. Такой отказ он считал для себя даже лестным; ведь и Наполеон был бы смешон, надень он фрак. А в этой одежде Генрих Кроль поистине выгладит скромным уполномоченным Господа Бога – как оно и должно быть. Велосипедные зажимы придают его облику что-то домашнее и вместе с тем спортивное: в наш век автомобилей кажется, что у таких людей можно купить дешевле.

Генрих снимает шляпу и вытирает лоб платком. На улице довольно прохладно, и он отнюдь не вспотел: он делает это, только желая подчеркнуть, что вот он – чернорабочий, обремененный тяжелым трудом, мы же – канцелярские крысы.

– А я наш мраморный крест продал, – заявляет он с притворной скромностью, за которой чувствуется безмолвный рев торжества.

– Какой? Тот маленький? – осведомляюсь я тоном, полным надежды.

– Нет, большой, – отвечает Генрих с еще большей скромностью и смотрит на меня в упор.

– Что? Большой крест из шведского гранита с двойным цоколем и бронзовыми цепями?

– Вот именно. А разве у нас есть еще другие?

Генрих наслаждается своим глупым вопросом, он считает его вершиной саркастического юмора.

– Нет, – отвечаю я. – Других у нас уже нет. В том-то и беда! Этот был последним. Гибралтарская скала.

– За сколько же ты продал? – осведомляется Георг Кроль.

Генрих потягивается.

– За три четверти миллиона, без надписи, без доставки и без ограды. Это все – дополнительно.

– Господи! – восклицаем мы с Георгом одновременно.

Генрих смотрит на нас вызывающе – у дохлой пикши бывает иногда такое выражение.

– Да, бой был нелегким, – говорит он и почему-то опять надевает шляпу.

– Лучше бы вы проиграли его, – отвечаю я.

– Что?

– Проиграли бы этот бой.

– Что? – сердито повторяет Генрих. Я легко вызываю его раздражение.

– Он жалеет, что ты продал крест, – поясняет Георг Кроль.

– Жалеет? Как прикажешь это понимать? Черт бы вас побрал! Мотаешься с утра до ночи, продаешь блестяще, и тебя же в этой лавчонке еще встречают упреками! Поездите-ка сами по деревням и попробуйте...

– Генрих, – кротко прерывает его Георг. – Мы же знаем, что ты из кожи вон лезешь, но мы живем сейчас в такое время, когда продажи разоряют. В стране уже давно инфляция. С тех пор как кончилась война. Но в этом году инфляция усиливается и развивается как скоротечная чухотка. Поэтому цифры уже не имеют никакого значения.

– Это я и без тебя знаю. Я же не идиот.

Ни один из нас не возражает. Только идиоты утверждают, что они не идиоты. Противоречить им бесполезно. Я знаю это на основании тех воскресений, которые провожу в лечебнице для душевнобольных. Генрих вытаскивает из кармана записную книжку.

– При покупке памятник с крестом обошелся нам в пятьдесят тысяч. А продали мы его за три четверти миллиона – кажется, прибыль неплохая.

Он снова барахтается в мелководье тупых сарказмов. Генрих считает, что должен воспользоваться случаем и поддеть меня – ведь я когда-то был школьным учителем. Вскоре после

войны я в течение девяти месяцев учил ребят в глухой степной деревне, пока не бежал оттуда, преследуемый по пятам воющим псом зимнего одиночества.

– Еще выгоднее было бы, если бы вы вместо нашего великолепного креста продали вон тот чертов обелиск, который торчит перед окном, – говорю я. – Судя по рассказам, ваш покойный папаша шестьдесят лет назад, при основании фирмы, приобрел его еще дешевле – за какие-нибудь пятьдесят марок.

– Обелиск? Какое отношение обелиск имеет к нашему делу? Обелиск продать нельзя, это понятно каждому младенцу.

– Именно поэтому его было бы и не жаль, – настаиваю я. – А крест жаль. Нам придется за большие деньги выкупить его обратно.

Генрих Кроль отрывисто сопит. В его толстом носу сидят полипы, и нос легко распухает.

– Может быть, вы вздумаете уверять меня, что сейчас можно выкупить такой крест за три четверти миллиона?

– Это мы скоро узнаем, – замечает Георг Кроль. – Завтра приезжает Ризенфельд. Нам придется делать новый заказ Оденвэльдскому гранитному заводу; на складе у нас осталось мало гранитных памятников.

– Ну, у нас есть еще обелиск, – коварно вставляю я.

– Почему же вы тогда сами не продаете? – задыхаясь от возмущения, спрашивает Генрих. – Значит, Ризенфельд приезжает завтра утром? Тогда и я останусь дома и сам с ним переговорю! Посмотрим, каковы цены!

Мы с Георгом обмениваемся взглядами. Мы отлично понимаем, что нельзя допускать встречи Ризенфельда с Генрихом, даже если придется напоить Генриха пьяным или подмешать касторки в его воскресную кружку пива. Этот честный, но допотопный делец нестерпимо надоел бы Ризенфельду своими воспоминаниями о войне и рассказами о добром старом времени, когда марка была маркой и верна себе, а верность была основой чести, как превосходно выразился наш обожаемый фельдмаршал. Генрих очень высокого мнения о подобных пошлостях, Ризенфельд – нет. Ризенфельд считает верностью то, когда другие выполняют по отношению к нам обязательства, которые им невыгодны, а для нас – когда мы выполняем то, что нам выгодно.

– Цены меняются каждый день, – говорит Георг. – Тут и спорить не о чем.

– Ах так? Может быть, и ты считаешь, что я продешевил?

– Смотря по обстоятельствам. Деньги привез?

Генрих смотрит на Георга, вытаращив глаза.

– Привез? Опять новая выдумка? Как я мог их привезти, если мы креста еще не доставили? Это же невозможно!

– Это не невозможно, – отвечаю я, – а, напротив, теперь очень принято. И называется – уплатить деньги вперед.

– Деньги вперед! – Генрих презрительно морщит толстый нос. – Что вы, школьный учитель, понимаете? Как можно в нашем деле требовать денег вперед? От скорбящих родственников? Когда венки на могиле не успели завянуть? А вы хотите требовать денег за то, что еще не доставлено?

– Конечно! А когда же? В такие минуты люди становятся мягче и деньги из них легче выжать.

– Становятся мягче? Ну что вы понимаете! Да они в такие минуты тверже, чем сталь! Они ведь только что заплатили врачу, священнику, за гроб, за могилу, за цветы, устроили поминки... И они вам, молодой человек, десяти тысяч вперед не дадут! Людям надо сначала опомниться, им нужно сначала убедиться, что этот самый памятник, который они заказали, действительно стоит на кладбище, увидеть его там, а не на бумаге в каталоге, даже если надписи и скорбящих родственников в придачу вы намалюете китайской тушью и золотом.

Опять бестактность, типичная для Генриха! Но я на нее не обращаю внимания. Верно, для нашего каталога я не только нарисовал надгробия и размножил рисунки на «Престо», но, чтобы усилить воздействие, раскрасил их и воссоздал «настроение» – плакучие ивы, клумбы анютиных глазок, кипарисы и вдов под траурной вуалью, поливающих цветы. Конкуренты чуть не лопнули от зависти, когда мы завели это новшество; у них-то ничего не было, кроме обыкновенных фотоснимков с имеющихся на складе надгробий, и даже Генрих решил, что это блестящая идея, особенно золотая краска. Чтобы придать изображениям большую натуральность, я украсил нарисованные и раскрашенные памятники соответствующими надписями, сделанными тем же золотом на олифе. Это были для меня чудесные дни: каждого человека, которого я терпеть не мог, я отправлял на тот свет и рисовал его надгробие; моему унтер-офицеру из рекрутских времен – он и до сих пор еще благополучно здравствует – я сделал, например, такую надпись: «Здесь покоится прах полицейского Карла Флюмера, скончавшегося после бесконечных мучительных страданий и утраты всех близких, ушедших в иной мир до него». Впрочем, он это заслужил: Флюмер жестоко угнетал меня во время войны и дважды посылал в разведку, причем я не погиб только благодаря счастливой случайности. Как тут не пожелать ему всяких бед.

– Господин Кроль, – говорю я, – разрешите, мы еще раз вкратце объясним вам суть нашей эпохи. Те принципы, на которых вы воспитаны, – благородные принципы, но в наше время приводят только к банкротству. Деньги нынче может заработать почти каждый, а вот сохранить их стоимость – почти никто. Важно не продавать, а покупать и как можно быстрее получать деньги за проданное. Мы живем в век реальных ценностей. Деньги – иллюзия; каждый это знает, но многие еще до сих пор не могут в это поверить. А пока дело обстоит так: инфляция будет расти до тех пор, пока мы не докатимся до полного ничто. Человек живет, на семьдесят пять процентов исходя из своих фантазий и только на двадцать пять – исходя из фактов; в этом его сила и его слабость, и потому в теперешней дьявольской пляске цифр все еще есть выигрывающие и проигрывающие. Мы знаем, что быть в абсолютном выигрыше не можем, но не хотели бы оказаться и в числе окончательно проигравших. Те три четверти миллиона, за которые вы сегодня продали крест, если их уплатят только через два месяца, будут стоить не больше, чем сегодня пятьдесят тысяч марок. Поэтому...

Генрих багровеет. Он останавливает меня, заявляя вторично:

– Я же не идиот. И незачем читать мне дурацкие лекции. Я лучше вас знаю практическую жизнь и предпочитаю честно погибнуть, чем пользоваться сомнительными спекулянтскими методами, чтобы существовать. Пока я в нашей фирме заведую продажей, все будет вестись по-старому, пристойно – и баста! Что я умею, то умею, до сих пор дело шло – так оно пойдет и дальше! Какая мерзость – испортить человеку радость от удачной сделки! И почему вы не остались паршивым учителем?

Генрих хватает шляпу и с грохотом захлопывает дверь. Нам видно, как он на своих крепких кривых ногах топает через двор; велосипедные зажимы придают ему что-то военное. Генрих отправляется в ресторан Блюме, где, как обычно, усядется за свой любимый столик.

– Он, видите ли, желает испытывать радость от своих сделок, этот буржуазный садист, – возмущаюсь я. – Еще и это! Да как можно заниматься нашим делом иначе, чем с благочестивым цинизмом, если хочешь сберечь свою душу? А этот лицемер желает вдобавок получать удовольствие от шахер-махеров с покойниками да еще считает это своим прирожденным правом!

Георг смеется.

– Бери свои деньги, и пошли. Ты, кажется, хотел купить галстук? Ну что ж, поспеши! Сегодня никакого повышения оклада больше не будет.

Чемодан с деньгами он небрежно ставит на пол в своей комнате рядом с конторой. Я с трудом запикиваю пачки денег в пакет с надписью: «Кондитерская Келлера – богатый ассортимент лучшего печенья, доставка на дом».

- Ризенфельд действительно приезжает? – осведомляюсь я.
- Да, он телеграфировал.
- Что ему нужно? Получить деньги или продать товар?
- А вот увидим, – отвечает Георг и запирает контору.

II

Мы выходим на улицу. Стоит конец апреля, и жаркое солнце словно опрокидывает на нас гигантскую чашу, полную ветра и света. Мы останавливаемся. Сад охвачен зеленым пламенем, весна поет в молодой листве тополей, точно арфа, и зацветает сирень.

– Инфляция! – говорю я. – Вот перед тобой еще одна, и притом – самая неудержимая. Как будто даже природа знает, что теперь счет ведется только на десятки тысяч и на миллионы. Посмотри, что вытворяют тюльпаны! А белизна вон там, а пунцовые и желтые тона повсюду! А как пахнет!

Георг кивает, нюхает воздух и затягивается бразильской сигарой; природа становится для него вдвое прекраснее, если он к тому же курит сигару.

Мы чувствуем на своих лицах теплый солнечный свет и созерцаем окружающее великолепие. Сад позади нашего дома служит в то же время выставочной территорией для надгробий. Вон они стоят в строю, словно рота под командой тощего лейтенанта – обелиска Отто, пост которого тут же, возле двери. Именно этот памятник я и посоветовал Генриху продать – старейшее надгробие фирмы, как бы ее неизменная примета, нечто чудовищное по своей безвкусице. А за ним следуют сначала самые дешевые маленькие надгробия из песчаника или цемента, могильные камни для бедняков, которые честно и скромно жили и трудились и потому, разумеется, ничего не достигли. Затем идут памятники побольше, уже на цоколях, но все еще достаточно дешевые, – памятники для тех, кто жаждал все же стать кем-нибудь поважнее, хотя бы после смерти, если уж не удалось при жизни. Таких памятников мы продаем больше, чем совсем простых, и трудно определить, что преобладает в этом запоздалом внимании близких – трогательная забота или нелепое честолюбие. За ними стоят надгробия из песчаника, но с вделанными в них досками из мрамора, серого сиенита или черного шведского гранита. Они уже недоступны для человека, жившего трудами рук своих. В данном случае наша клиентура – мелкие торговцы, фабричные мастера, ремесленники, владеющие собственной мастерской, и, разумеется, вечный неудачник – мелкий чиновник, честный пролетарий в стоячем воротничке, который всегда должен казаться более значительной особой, чем на самом деле, причем совершенно неизвестно, каким образом в наши дни он еще ухитряется существовать, ибо повышение его заработной платы каждый раз происходит слишком поздно.

Но все эти надгробия – что называется, мелкий домашний скот, лишь после них следуют солидные, глыбообразные памятники из гранита и мрамора. Сначала – те, у которых отполирован только фасад, а бока, задняя сторона и весь цоколь не обработаны и бугристы. Эта категория предназначена для состоятельных людей среднего достатка – для работодателей, дельцов, более крупных коммерсантов и, разумеется, для тех же неудачников чиновников, но повыше рангом, ибо они, так же как и мелкота, должны посмертно истратить больше, чем зарабатывали при жизни, лишь бы сохранить декорум.

Однако истинная аристократия нашего сборища надгробий – это мрамор, отполированный со всех сторон, и черный шведский гранит. Тут уже нет ни бугристых поверхностей, ни необработанной задней стороны, все доведено до полного блеска, все части одинаковы, видно их или не видно, даже цоколи, причем бывает не один, а два, иногда и скошенный третий; но шедевры в подлинном смысле слова венчает еще и статный крест из того же материала. Разумеется, такая штука предназначена в наше время только для богатых крестьян – владельцев крупных реальных ценностей, спекулянтов и ловких дельцов, зарабатывающих на долгосрочных векселях и живущих за счет государственного банка, который все оплачивает, выпуская новые и новые не обеспеченные золотом денежные знаки.

Мы рассматриваем одновременно и тот единственный роскошный памятник, который еще четверть часа назад считали собственностью фирмы. Вон он стоит, черный и блестящий,

как новенький лакированный автомобиль, его овевают ароматы весны, к нему склоняются грозди цветущей сирени, он похож на важную, холодную и бесстрастную даму, которая еще несколько часов будет непорочна, а затем на девственном животе ее выгравировают латинским позолоченным шрифтом – по восемьсот марок за букву – имя владельца хутора Генриха Фледерсена.

– Счастливого пути, черная Диана, – говорю я и приподнимаю шляпу. – Прощай. Поэту вечно будет непонятно, что даже красота, отмеченная совершенством, подвластна, как и все, законам рока и также смертна! Счастливого пути! Отныне ты станешь бесстыдной рекламой для души скупердя Фледерсена, который отнимал у бедных городских вдов последние банкноты в десять тысяч за непомерно дорогое фальсифицированное масло – вернее, маргарин, не говоря уже о зверских ценах на шницеля, свиные отбивные и жареную телятину! Счастливого пути!

– От твоих слов мне даже есть захотелось, – восклицает Георг. – Пошли в «Валгаллу»! Или тебе непременно надо сначала приобрести галстук?

– Нет, я успею до закрытия магазинов. По субботам курс доллара после полудня не меняется. С двенадцати часов дня до утра понедельника валюта остается стабильной. А, собственно, почему? Должно быть, тут кроется какой-то огромный подвох. Почему марка в конце недели не падает? Господь Бог ее удерживает, что ли?

– Просто в эти дни биржа не работает. Еще вопросы есть?

– Да. Живет ли человек изнутри наружу или снаружи внутрь?

– Человек живет – и точка. В «Валгалле» сегодня дают гуляш. Гуляш с картошкой, огурцами и салатом. Я видел меню, когда шел из банка.

– Гуляш! – Я срываю примулу и вставляю в петлицу. – Человек живет, ты прав! Кто пытается вникнуть глубже, тот пропал. Пойдем позлим Эдуарда Кноблоха!

Мы входим в большой обеденный зал гостиницы «Валгалла». Эдуард Кноблох, ее владелец, жирный великан в коричневом парике, облаченный в черный сюртук с развевающимися при движении фалдами. Завидев нас, он делает такую гримасу, словно, лакомясь седлом косули, попал зубом на дробинку.

– Здравствуйте, господин Кноблох, – приветствует его Георг. – Хорошая нынче погода! Вызывает бешеный аппетит!

Эдуард нервно поводит плечами.

– Есть слишком много не годится! Вредно для печени, для желчного пузыря, для всего.

– Но не у вас, господин Кноблох, – горячо возражает ему Георг. – Ваши обеды исключительно полезны для здоровья.

– Полезны – да. Но слишком много полезного может и повредить. Согласно новейшим научным данным, излишек мяса...

Я прерываю Эдуарда легким шлепком по животу. Он отскакивает, словно его схватили за одно место.

– Успокойся и покорись своей участи, – говорю я. – Мы не объедем тебя. А что поделяет поэзия?

– Побирается! Нет времени! В такие времена!

Я не смеюсь над этой глупостью. Эдуард не только владелец ресторана, он и поэт; но так легко ему от меня не отделаться.

– Есть свободный столик? – спрашиваю я.

Кноблох окидывает взглядом зал. Вдруг его лицо светлеет.

– Мне искренне жаль, господа, но я вижу, что ни одного свободного столика нет.

– Не беда. Мы подождем.

Эдуард еще раз озирается.

– Похоже на то, что скоро ни один и не освободится, – возвещает он, окончательно просяв. – Господа еще только кушают суп. Может быть, вам сегодня больше повезет в «Альтшtedтергоф» или в ресторане вокзальной гостиницы? Говорят, там кормят довольно прилично.

Прилично! Сегодня день словно пропитан сарказмом. Сначала Генрих, теперь Эдуард. Но мы будем бороться за гуляш, хотя бы нам пришлось ждать целый час. Гуляш – это «гвоздь» меню «Валгаллы».

Все же Эдуард, как видно, не только поэт, он способен читать чужие мысли.

– Ждать нет смысла, – заявляет он. – У нас гуляша никогда не хватает, его тут же весь разбирают. А может, вы желаете немецкий бифштекс? Вы можете его скушать, не отходя от стойки.

– Лучше смерть, – отвечаю я. – Гуляш мы раздобудем, даже если бы тебя самого пришлось изрубить на кусочки.

– Вот как? – Теперь Эдуард воплощение жирного торжествующего скептицизма.

– Да, – говорю я и вторично хлопаю его по брюху. – Пошли, Георг, я вижу столик.

– Где? – торопливо спрашивает Эдуард.

– Да вон там, где сидит этот господин, похожий на гардероб. Ну вон тот, рыжий, с элегантной дамой. Сейчас он встал и машет нам рукой. Это мой друг Вилли. Присылай кельнера, мы сделаем заказ.

Эдуард испускает нам вслед шипение, точно лопнула автомобильная камера. Мы устремляемся к Вилли.

Причина, почему Эдуард разыгрывает всю эту комедию, очень проста. Раньше у него можно было обедать по абонементу. Купишь книжечку с десятью талонами – и каждый обед обходится немного дешевле. Эдуард ввел когда-то эти книжечки, чтобы поднять популярность своего ресторана. Но за последние недели лавина инфляции перечеркнула все его расчеты; и если стоимость первого обеда по такой книжечке еще в какой-то мере соответствовала ценам, установленным на данный момент, то, когда наступало время десятого, курс успевал уже резко упасть. Поэтому Эдуарду пришлось отказаться от системы абонементов: он слишком много при этом терял. Но тут мы поступили весьма предусмотрительно. Прослышав заблаговременно о его планах, мы полтора месяца тому назад всадили все деньги, полученные за один из памятников павшим воинам, в покупку этих обеденных книжечек «Валгаллы» оптом. А чтобы наш маневр не слишком бросился в глаза Эдуарду, использовали для покупки самых разных людей – гробовщика Вильке, кладбищенского сторожа Либермана, нашего скульптора Курта Баха, Вилли, нескольких фронтовых товарищей, знакомых, связанных с нашей фирмой, и даже Лизу. Все они приобрели для нас в кассе «Валгаллы» обеденные книжечки. Когда Эдуард затем отменил абонементы, он рассчитывал, что все они будут использованы в течение десяти дней, ибо в каждой было только по десять талонов, а он полагал, что ни один здравомыслящий человек не будет покупать одновременно несколько абонементов. Однако у каждого из нас оказалось свыше тридцати абонементных книжечек. Когда прошло две недели после отмены абонементов и Эдуард увидел, что мы все еще расплачиваемся талонами, он забеспокоился; через месяц у него был небольшой приступ паники. В это время мы уже обедали за полцены; через полтора месяца – за стоимость десятка папирос. Изо дня в день появлялись мы в «Валгалле» и предъявляли наши талоны. Наконец Эдуард спросил, сколько же у нас еще осталось. Мы ответили уклончиво. Он попытался наложить запрет на абонементы, но мы привели с собой юриста, пригласив его на венский шницель. За десертом юрист прочел Эдуарду целую лекцию о том, что такое контракты и обязательства, и заплатил нашими талонами. В лирике Эдуарда зазвучали мрачные нотки. Он попытался вступить с нами в соглашение – мы соглашение отвергли. Он написал нравоучительные стихи «Коль нажил ты добро нечестно, оно на пользу не пойдет» и послал в местную газету. Редактор показал нам эти стихи; они были полны намеков

на могильщиков народа, упоминалось в них и о надгробиях, а также о лихоимце Кроле. Мы пригласили нашего юриста в «Валгаллу» на свиную отбивную, он объяснил Эдуарду, что такое публичное оскорбление и каковы его последствия, и снова расплатился нашими талонами. А Эдуард, который был до этого чистым лириком и воспевал цветы, начал писать стихи о ненависти. Но вот и все, что он мог сделать. Яростная борьба продолжается. Каждый день Эдуард надеется, что наши резервы наконец-то иссякнут; он не знает, что у нас талонов хватит больше чем на семь месяцев.

Вилли встает. На нем новый темно-зеленый костюм из первоклассного материала, поэтому он похож на рыжеголовую травяную лягушку. Его галстук украшен булавкой с жемчужиной, на указательном пальце правой руки – тяжелый перстень с печаткой. Пять лет назад он был помощником нашего ротного интенданта. Ему, как и мне, двадцать пять лет.

– Разрешите представить? – осведомляется Вилли. – Мои друзья и фронтовые товарищи Георг Кроль и Людвиг Бодмер – фрейлейн Рене де ла Тур из «Мулен Руж» в Париже.

Рене де ла Тур кивает нам сдержанно, но довольно приветливо. Мы не сводим изумленных глаз с Вилли. Вилли отвечает нам таким же многозначительным гордым взглядом.

– Садитесь, господа, – предлагает он. – Насколько я понимаю, Эдуард хотел исключить вас из числа обедающих. А гуляш хорош, только луку можно было бы прибавить. Садитесь, мы с удовольствием подвинемся.

Мы усаживаемся за столик. Вилли знает о нашей войне с Эдуардом и следит за ней с интересом прирожденного игрока.

– Кельнер! – зову я.

Плоскостопого кельнера, который, переваливаясь, проходит в четырех шагах от нас, видно, вдруг поражает глухота.

– Кельнер! – зову я вторично.

– Ты варвар! – заявляет Георг Кроль. – Ты оскорбляешь человека, называя его профессию. Ради чего же он делал в 1918 году революцию? Господин обер!

Я усмехаюсь. Действительно, немецкая революция 1918 года была самой бескровной в мире. Социал-демократы сами себя так напугали, что тут же призвали на помощь бонз и генералов прежнего правительства, чтобы те защитили их от вспышки их собственного мужества. И генералы великодушно это сделали. Известное число революционеров было отправлено на тот свет, аристократия и офицеры получили огромные пенсии, чтобы у них было время для подготовки путчей, чиновникам дали новые звания, старшие преподаватели стали школьными советниками, кельнеры получили право именоваться обер-кельнерами, а социал-демократические секретари – «ваше превосходительство», министр рейхсвера, социал-демократ, обрел блаженную возможность иметь в своем министерстве в качестве подчиненных настоящих генералов, и немецкая революция захлебнулась среди красного плюша, уюта, постоянных столиков в пивной и мечтаний о блестящих мундирах и звучных командах.

– Господин обер! – повторяет Георг.

Кельнер остается глух. Старый детский трюк Эдуарда: он пытается сломить наше сопротивление, давая кельнерам инструкции не обслуживать нас.

– Обер! Послушайте, вы что, оглохли? – вдруг раскатывается по залу громовый голос, мастерски имитирующий рявканье фельдфебеля во дворе прусской казармы.

Голос оказывает мгновенное действие, как звук трубы на боевого коня. Кельнер останавливается, словно ему выстрелили в спину, и оборачивается к нам; подбегают двое других, где-то кто-то щелкает каблуками, мужчина военного вида за соседним столиком говорит вполголоса «браво», и даже сам Эдуард в развевающемся сюртуке спешит к нам, чтобы выяснить, чей это голос прогремел из высших сфер. Он отлично знает, что ни Георг, ни я не способны так командовать.

Опешив, мы оборачиваемся к Рене де ла Тур. А она сидит за столиком с самым мирным, девическим видом, словно все это ее ничуть не касается. Но ясно, что лишь она могла так рывкнуть, голос Вилли мы знаем.

Обер уже стоит возле стола.

– Что господам угодно?

– Суп с лапшой, гуляш и гурьевскую кашу на двоих, – отвечает Георг. – Да живо, не то вы у нас оглохнете, тихоня этакий!

Подходит Эдуард. Он не понимает, что произошло. Его взгляд скользит под стол. Но там никто не спрятался, а дух не может издать такой рык. Мы тоже. Он это знает и подозревает какой-то трюк.

– Я попрошу... – заявляет он наконец, – в моем ресторане не полагается так шуметь.

Но мы не отвечаем. Мы только смотрим на него пустым взглядом. Рене де ла Тур пудрится. Эдуард поворачивается и идет прочь.

– Хозяин! Подите-ка сюда! – вдруг рывкает ему вслед тот же громовый голос.

Эдуард повертывается как ужаленный и глядит на нас вытаращив глаза. С наших морд еще не сошла та же пустая улыбка. Он смотрит на Рене де ла Тур.

– Это вы сейчас...

Рене захлопывает пудреницу.

– Что? – спрашивает она серебристым, нежным сопрано. – Что вам угодно?

Эдуард все еще таращит глаза. Он не знает, что и думать.

– Вы, наверно, очень переутомились, господин Кноблех? – соболезнующе спрашивает Георг. – У вас, как видно, галлюцинации...

– Но ведь кто-то только что...

– Ты спятил, Эдуард, – говорю я. – И вид у тебя прескверный. Возьми отпуск. Нам нет никакого расчета продать твоим родным дешевый памятник под итальянский мрамор, так как большего ты не стоишь...

Эдуард усиленно моргает, как старый филин.

– Вы какой-то странный человек, – замечает Рене де ла Тур нежным сопрано. – Если ваши кельнеры оглохли, то при чем тут посетители?

Она смеется, и ее смех восхитительно журчит звенящим серебром, точно певучий ручей в сказке.

Эдуард хватается за лоб. Он теряет остатки самообладания. Нет, так не могла рывкать и сидящая перед ним девушка. У того, кто так смеется, не может быть голос грубого вояки.

– Вы свободны, Кноблех, – небрежно заявляет Георг. – Или вы намерены принять участие в нашей беседе?

– И не ешь так много мяса, – добавляю я. – Может, это у тебя от мяса! Что ты нам перед тем говорил? Согласно новейшим научным данным...

Эдуард делает крутой поворот и спасается бегством. Мы ждем, пока он отойдет подальше. И тут мощное тело Вилли начинает сотрясаться от беззвучного хохота. Рене де ла Тур мягко улыбается. Ее глаза блестят.

– Вилли, – говорю я, – человек я легкомысленный и поэтому пережил сейчас одну из прекраснейших минут моей молодой жизни; но теперь объясни нам, что же тут произошло!

Вилли, все еще содрогаясь от безмолвного хохота, указывает на Рене.

– Excusez, mademoiselle, – говорю я, – Je me... { Извините мадемуазель, я... (*фр.*) } От моего французского языка Вилли смеется еще неудержимее.

– Скажи ему, Лотта, – фыркает он.

– Что сказать? – спрашивает Рене с любезной улыбкой, но в ее голосе вдруг снова звучат негромкие, но угрожающие басовые ноты.

Мы с изумлением смотрим на нее.

– Она артистка, – наконец с трудом произносит Вилли. – Дуэтистка. Она поет дуэты. Но одна. Куплет высоким голосом, куплет низким. Одну партию сопрано, другую басом.

Мрак проясняется.

– Но откуда же все-таки бас? – недоумеваю я.

– Талант! – восклицает Вилли. – Ну и потом, конечно, работа. Вы бы послушали, как она изображает супружескую ссору! Нет, Лотта – это что-то легендарное.

Мы соглашаемся. Появляется гуляш, Эдуард, крадучись, бродит вокруг нашего стола, издали наблюдая за нами. Ему вечно хочется докопаться, почему именно происходит то или другое, – и в этом его беда. Это портит его лирику и делает в жизни недоверчивым. В данный момент он ломает себе голову над загадкой неведомого баса. Но он не знает, что еще его ждет. Георг, кавалер старой школы, попросил Рене де ла Тур и Вилли считать себя его гостями и вместе отпраздновать одержанную победу. А за отличный гуляш он по окончании трапезы вручит скрежещущему зубами Эдуарду четыре клочка бумаги, на которые в общей сложности можно купить сегодня только несколько жалких костей с остатками мяса на них.

Ранний вечер. Я сижу у окна в своей комнате над конторой. Дом наш низкий, обветшалый, с множеством закоулков. Как и весь этот квартал, он некогда принадлежал церкви, которая стоит на площади в конце улицы. В нем жили священники и церковные служащие; но вот уже шестьдесят лет, как он является собственностью фирмы Кроль. Дом состоит из двух низеньких флигелей, разделенных подворотней в виде арки; во втором флигеле проживает фельдфебель Кнопф с женой и тремя дочерьми. При доме чудесный старый сад, в котором выставлены наши надгробия, а слева, на задах, имеется еще какое-то подобие двухэтажного деревянного сарая. В нижнем помещении мастерская нашего скульптора Курта Баха. Из-под его рук выходят скорбящие львы и взлетающие орлы для наших надгробий павшим воинам, а также соответствующие надписи, которые потом высекаются каменотесами на этих памятниках. В свободное время он бренчит на гитаре, бродит по саду и мечтает о золотых медалях, их должен получить знаменитый скульптор Курт Бах в более поздний период своего творчества, который никогда не наступит: ему уже тридцать два года.

Верхний этаж сарая мы сдаем гробовщику Вильке. Это тощий мужчина, и никто не знает, есть у него семья или нет. У нас с ним дружеские отношения, как бывает обычно, когда отношения между людьми основаны на взаимной выгоде. Если у нас есть совсем свежий покойник, у которого еще нет гроба, мы рекомендуем Вильке или подаем ему знак, чтобы он сам позаботился предложить свои услуги; также не забывает он и нас, когда узнает о трупе, который еще не успели утащить гиены конкуренции, ибо за умерших ведется ожесточенный бой, вплоть до поножовщины. Оскар Фукс, разъездной агент фирмы «Хольман и Клотц», использует для этой цели даже лук. Прежде чем войти в дом, где лежит покойник, он вытаскивает из кармана несколько разрезанных луковиц и нюхает их до тех пор, пока на глазах не выступят слезы, – тогда он решительно входит, подчеркнуто выражает свое соболезнование по поводу дорогого покойника и старается заключить сделку. Потому его и прозвали Оскар-плакса. Странное дело: если бы близкие при жизни иного покойника хоть наполовину так заботились о нем, как тогда, когда им от этого уже нет никакой пользы, трупы наверняка охотно отказались бы от самых дорогих мавзолеев; но уж таков человек: по-настоящему он дорожит только тем, что у него отнято.

Улицу медленно наполняет прозрачная дымка вечерних сумерек. У Лизы уже горит свет; но теперь занавески задернуты – знак того, что мясник пришел. От ее дома начинается сад виноторговца Хольцмана. Кисти сирени свешиваются через ограду, а из подвалов тянет свежим укусным запахом бочек. Из ворот нашего дома выходит фельдфебель-пенсионер Кнопф. Это худой человек в картузе и с тросточкой; несмотря на его профессию и на то, что он, кроме строевого устава, не прочел за всю жизнь ни одной книжки, он чем-то похож на Ницше. Кнопф

идет по Хакенштрассе и на углу Мариенштрассе сворачивает налево. Около полуночи он появляется опять – на этот раз справа, – ибо закончил обход городских пивнушек, который, как подобает бывшему вояке, совершает неукоснительно каждый вечер. Кнопф пьет только водку, притом хлебную, ничего другого он не признает. Но тут он величайший знаток. В городе есть три-четыре фирмы, которые выпускают хлебную водку. Нам все водки кажутся почти одинаковыми. Но не Кнопфу: он различает их по одному запаху. Сорок лет неустанных трудов до того утончили его вкус, что, даже имея дело с тем же сортом, он определяет, из какой именно пивной эта водка, уверяя, что и погреба бывают разные и он их распознает. Конечно, не водку в бутылках, – только если она прямо из бочки. Он уже не раз держал по этому поводу пари и неизменно выигрывал.

Я встаю и окидываю взглядом свою комнату. Потолок у нее косой и низкий, она невелика, но в ней есть все, что мне нужно, – кровать, полка с книгами, стол, несколько стульев и старый рояль. Пять лет назад, когда я был солдатом на передовой, я бы не поверил, что у меня будет когда-нибудь опять такая хорошая комната. Мы стояли во Фландрии, в дни великого наступления под Кеммельбергом, и мы потеряли в нем три четверти нашей роты. На второй день боев Георг Кроль попал в лазарет – он был ранен в живот, а я только через три недели заполучил ранение в колено. Затем произошла катастрофа, и я стал в конце концов школьным учителем: это было желанием моей больной матери, и я обещал ей, когда она умирала, что его выполню. Мать при жизни очень часто болела и поэтому решила, что если я изберу профессию, обеспечивающую мне пожизненную службу, то со мной по крайней мере ничего уже не может случиться. Она умерла в последние месяцы перед концом войны, но я все же сдал экзамены на учителя, был послан в степные деревни и там преподавал, пока мне не надоело вдалбливать детям такие истины, в которые я сам давно не верил, и быть заживо погребенным среди воспоминаний, которые жаждал забыть.

Я пытаюсь читать; но не такая погода, чтобы читать. Весна будит тревогу, и в сумерках легко затеряться. Все вокруг утрачивает свои очертания, ты сбит с толку, ты задыхаешься. Зажигаю свет и сразу же успокаиваюсь. На столе лежит желтая папка со стихами, которые я переписал на машинке «Эрика» в трех экземплярах. Время от времени я посылаю несколько экземпляров в газеты. Либо мне стихи возвращают, либо газеты просто не дают ответа; тогда я переписываю новые экземпляры и возобновляю свои попытки. Но только три раза удалось мне напечататься – в ежедневной местной газете, правда при помощи Георга, который знаком с редактором. Все же этого оказалось достаточно, чтобы я стал членом Верденбрюкского клуба поэтов, который собирается раз в неделю у Эдуарда Кноблоха, в его «Старогерманской горнице». Недавно Эдуард, из-за истории с обеденными талонами, попытался добиться моего исключения, как личности аморальной. Но члены клуба – все против одного голоса Эдуарда – единодушно заявили, что действия мои заслуживают всяческого уважения: примерно так же издавна действуют в нашем возлюбленном отечестве все промышленники и дельцы, а кроме того, искусство не имеет никакого отношения к морали.

Стихи я отодвигаю от себя. Они вдруг кажутся мне плоскими и ребяческими, как те стандартные вирши, которые пытается в свое время сочинять почти каждый юноша. Я начал писать стихи еще на фронте, но там это имело какой-то смысл – они на несколько мгновений уносили меня прочь от действительности, служили как бы маленьким очагом сопротивления и веры в то, что существует на свете еще нечто, кроме разрушения и смерти. Но это было давно: теперь я знаю твердо, что, кроме них, действительно существует еще многое, и знаю, что все это может существовать наряду с ними и даже одновременно. Для этого мне мои стихи больше не нужны. В книгах на моей полке об этом сказано гораздо лучше. Однако разве это причина, чтобы от чего-то отказываться? К чему бы мы тогда пришли? Куда бы все мы делись? Поэтому я продолжаю писать, но часто мои стихи кажутся мне серыми и надуманными в сравнении с

вечерним небом над крышами, которое сейчас становится яблочного цвета, а лилово-пепельный дождь сумерек уже затопляет улицы.

Я спускаюсь по лестнице мимо темной конторы и выхожу в сад. Дверь в квартиру семейства Кнопф распахнута. Словно в огненной пещере, озаренные светом, сидят там три дочери Кнопфа за своими швейными машинками и работают. Машинки жужжат. Я бросаю взгляд на окно рядом с конторой. Оно темное – значит, Георг уже куда-то смылся. Вошел и Генрих в надежную гавань любимой пивной, где он завсегдатай и у него постоянный столик.

Я обхожу сад. Кто-то полил его. Земля сырая, от нее исходит сильный запах. В мастерской гробовщика Вильке пусто, тихо и у Курта Баха. Окна раскрыты; недоделанный скорбящий лев прикорнул на полу – кажется, будто у него болят зубы, – а рядом мирно стоят две пивные бутылки.

Вдруг начинает петь какая-то птица. Это дрозд. Он сидит на верхушке надгробия с крестом, которое Генрих Кроль так продешевил; у птички явно слишком большой голос для такого маленького черного шарика с желтым клювом. Этот голос и ликует, и жалуется, и хватается за сердце. И я думаю о том, что вот его песня мне говорит о жизни, о будущем, о грезах и обо всем том неведомом, необычном и новом, что меня ожидает; а для червей, которые вылезают из сырой земли и с усилиями взбираются на подножие памятника с крестом, для них эта песня – грозный сигнал смерти через четвертование свирепыми ударами клюва; и все же невольно она уносит меня, как волна, все растворив, и я стою беспомощный, растерянный, дивясь тому, что я не разорвусь или не взлечу, словно воздушный шар, в это вечернее небо; но наконец я все же прихожу в себя, спотыкаясь, бреду через сад и его ночное благоухание обратно в дом, по лестнице, к роялю, обрушиваясь на клавиши, ласкаю их, пытаюсь, словно дрозд, греметь и трепетать, чтобы выразить свои чувства; но в конце концов получается только нагромождение арпеджио и какие-то обрывки из модных и народных песенок, из «Кавалера роз» и из «Тристана», какая-то смесь и дикая путаница, пока чей-то голос не кричит мне с улицы:

– Милый человек, научись хоть сначала играть!

Я обрываю игру и захопываю окно. Темная фигура исчезает в темноте; она уже слишком далеко, чтобы я мог чем-нибудь запустить в нее, да и чего ради? Незнакомец прав, я не умею играть как следует ни на рояле, ни на клавиатуре жизни, никогда, никогда не умел, я всегда слишком спешил, был слишком нетерпелив, всегда что-нибудь мешало мне, всегда приходилось обрывать; но кто действительно умеет играть, а если даже он играет – то что толку в этом? Разве великий мрак от этого станет менее черным и вопросы без ответа – менее безнадежными? Будет ли жгучая боль отчаянья от вечной недоступности ответов менее мучительной, и поможет ли это когда-нибудь понять жизнь и овладеть ею, оседлать ее, как укрощенного коня, или она так и останется подобной гигантскому парусу среди шторма, который мчит нас, а когда мы хотим ухватиться за него, сбрасывает в воду? Передо мной иногда словно открывается расседина, кажется, она идет до центра земли. Чем она заполнена? Тоской? Отчаяньем? Или счастьем? Но каким? Усталостью? Смирением? Смертью? Для чего я живу? Да, для чего я живу?

III

Раннее воскресное утро. Колокола звонят на всех колокольнях, и блуждающие вечерние огни исчезли. Доллар еще стоит тридцать шесть тысяч марок, время затаило дыхание, зной не успел растопить голубой кристалл неба, и все кажется ясным и бесконечно чистым – это тот единственный утренний час, когда веришь, что даже убийца будет прощен, а добро и зло – всего лишь убогие слова.

Я медленно одеваюсь. В открытое окно льется свежий, пронизанный солнцем воздух. Стальными вспышками проносятся ласточки под сводами подворотни. В моей комнате, как и в конторе под нею, два окна: одно выходит во двор, другое – на улицу. Вдруг тишину разрывает придушенный вскрик, за ним следуют стоны и какое-то клокотание. Это Генрих Кроль, он спит в другом флигеле. Его мучит очередной кошмар. В 1918 году его засыпало, и вот пять лет спустя ему время от времени все это снова снится.

Варю кофе на своей спиртовке и вливаю в него немного вишневого настоя. Я научился этому во Франции, а водка у меня, невзирая на инфляцию, еще есть. На новый костюм моего жалованья, правда, не хватает – просто никак не удается скопить нужную сумму, – но мелочи я покупать могу, и, разумеется, среди них, в виде утешения, иной раз и бутылку водки.

Я ем хлеб, намазанный маргарином и сливовым мармеладом. Мармелад хороший, он из запасов мамы Кроль. Маргарин прогорклый, но не беда: на фронте мы и не то еще ели. Затем я произвожу осмотр своего гардероба. У меня есть два костюма, перешитых из военных мундиров. Один перекрашен в синий, другой в черный цвет – с серо-зеленым материалом больше ничего нельзя было сделать. Кроме того, имеется костюм, который я носил еще до того, как стал солдатом. Правда, я из него вырос, но это настоящий штатский костюм, не переделанный и не перелицованный, и поэтому я надеваю его. К нему идет тот галстук, который я вчера купил и который я повязываю сегодня, чтобы предстать перед Изабеллой.

Я мирно бреду по улицам. Верденбрюк – старинный город, в нем шестьдесят тысяч жителей, есть и деревянные дома и здания в стиле барокко, а вперемежку с ними целые кварталы, застроенные в отвратительном новом стиле. Я пересекаю весь город, на другом конце выхожу из него, иду по аллее, обсаженной дикими каштанами, затем поднимаюсь на небольшой холм, там, среди густого парка, стоит психиатрическая лечебница. Дом кажется тихим в свете воскресного утра, птицы щебечут на деревьях, а я направляюсь в маленькую больничную церковь, где во время воскресной обедни играю на органе. Я научился играть, когда готовился стать школьным учителем, и год назад раздобыл это место органиста как побочную профессию. У меня несколько таких побочных профессий. Раз в неделю я даю детям сапожного мастера Бриля урок игры на фортепиано, за что он чинит мне башмаки и приплачивает еще немного деньгами, и два раза в неделю репетирую некоего оболтуса – сына книготорговца Бауера, также за небольшое вознаграждение и за право прочитывать все новые книги, а если я пожелаю некоторые из них приобрести, то он мне их продает со скидкой. Разумеется, весь клуб поэтов и даже Эдуард Кноблах тогда вдруг становятся моими друзьями.

Обедня начинается в девять часов. Я уже сижу за органом и вижу, как входят последние пациенты. Они входят тихонько и рассаживаются по скамьям. Между ними и на концах скамей садятся несколько санитаров и сестер. Все совершается очень пристойно, гораздо тише, чем в деревенских церквях, где я в бытность свою учителем тоже играл на органе. Слышно лишь, как по каменному полу скользят башмаки, именно скользят, а не топают. Так ступают те, чьи мысли далеко отсюда.

Перед алтарем горят свечи. Сквозь цветные стекла льется снаружи смягченный дневной свет и, смешиваясь с сиянием свечек, становится мягко-золотистым, местами тронутым голу-

бизной и пурпуром. В этом свете стоит священник в парчовом церковном облачении, а на ступеньках – коленапреклоненные служки в красных стихарях и белых накидках. Я выдвигаю регистры флейты и *vox humana* { Человеческий голос (*лат.*) – в органе регистр, подражающий по звучанию голосу человека. } и начинаю. Душевнобольные, сидящие в передних рядах, все как один повертывают головы, словно их дернули за веревочку. Их бледные лица с темными впадинами глаз, поднятые кверху, откуда звучит орган, лишены всякого выражения. В золотистом сумеречном свете они похожи на парящие плоские светлые диски, а зимой, в полумраке, напоминают огромные облатки, ожидающие, чтобы в них вошел святой дух. Они не могут привыкнуть к звукам органа; для них нет прошлого и нет воспоминаний, поэтому каждое воскресенье все эти флейты, скрипки и гамбы кажутся их отчужденному сознанию чем-то новым и неожиданным. Затем священник начинает молиться перед алтарем, и они обращают на него свои взоры.

Не все больные следят за церковной службой. В задних рядах многие сидят неподвижно, сидят, словно окутанные грозной печалью, как будто вокруг них лишь пустота, – впрочем, может быть, так только кажется. Может быть, они пребывают в совсем других мирах, в которые не проникает ни одно слово распятого Спасителя, простодушно и без понимания отдаются той музыке, в сравнении с которой звуки органа бледны и грубы. А может быть, они совсем ни о чем не думают, равнодушные, как море, как жизнь, как смерть. Ведь только мы одушевляем природу. А какая она сама по себе, может быть известно только этим сидящим внизу душевнобольным; но тайны этой они открыть не могут. То, что они увидели, сделало их немыми. Иногда кажется, что это последние потомки строителей вавилонской башни, языки для них смешались, и эти люди уже не могут поведать о том, что увидели с самой верхней террасы.

Я разглядываю первый ряд. Справа, среди мерцания розовых и голубых тонов, я замечаю темную голову Изабеллы. Она стоит на коленях возле скамьи, очень прямая и стройная. Узкая головка склонена набок, как у готических статуй. Я задвигаю регистры гамб и *vox humana* и выдвигаю *vox coelesta* { Небесный голос (*лат.*) – один из регистров органа. }. Этот регистр органа дает самые мягкие и далекие звуки. Мы приближаемся к минуте пресуществления. Хлеб и вино претворяются в тело и кровь Христову. Это чудо – такое же, как сотворение человека, возникшего из глины и праха. По мнению Ризенфельда, третье чудо состоит в том, что человек не знает, как ему быть со вторым, и все беспощаднее эксплуатирует и уничтожает себе подобных, а краткий срок между рождением и смертью старается как можно больше заполнить эгоизмом, хотя каждому с самого начала абсолютно ясно одно: он неизбежно должен умереть. Так говорит Ризенфельд, владелец Оденвэльдского гранитного завода, а он один из беспощаднейших дельцов и сорвиголов в делах смерти. *Agnus Dei qui tollis peccata mundi* { Агнец Божий, взявший на себя грехи мира (*лат.*). }.

После обедни больничные сестры кормят меня завтраком, состоящим из яиц, холодной закуски, бульона, хлеба и меда. Это входит в мой договор. Благодаря такому завтраку я легко обхожусь без обеда, ибо по воскресеньям талоны Эдуарда недействительны. Кроме того, я получаю тысячу марок, как раз ту сумму, на которую я могу, если захочу, проехать сюда и отсюда в трамвае. Я ни разу не потребовал повышения оплаты. Почему – и сам не знаю; а за уроки у сапожника Карла Бриля и за репетирование сына книготорговца Бауера я добиваюсь прибавок, как упрямый козел.

Позавтракав, я отправляюсь в парк, принадлежащий больнице. Это большой красивый участок с деревьями, цветами и скамейками, окруженный высокой стеной, и если не смотреть на забранные решетками окна, то кажется, что находишься в санатории.

Я люблю этот парк потому, что в нем очень тихо и ни с кем не нужно говорить о войне, политике и инфляции. Можно спокойно сидеть на скамейке и предаваться весьма старомодным занятиям: прислушиваться к шуму ветра и пению птиц, смотреть, как свет просачивается сквозь яркую зелень древесных крон.

Мимо меня бредут больные, которым разрешено выходить. Большинство молчит, только некоторые говорят сами с собой, кое-кто оживленно спорит с посетителями и сторожами, многие сидят в одиночку, молча и неподвижно, склонив голову, словно окаменевшие на солнце изваяния, сидят до тех пор, пока их не уведут обратно в палату.

Не сразу я привык к этому зрелищу, да и теперь еще иной раз пристально разглядываю душевнобольных, как в самом начале: со смешанным чувством любопытства, жути и еще какого-то третьего, безыменного ощущения, которое я испытал, когда впервые увидел покойника. Мне было тогда двенадцать лет, умершего звали Георгом Гельманом, неделю назад я еще играл с ним, и вот он лежал передо мной среди цветов и венков, фигура из желтого воска, что-то несказанно чуждое и до ужаса не имеющее к нам никакого отношения, оно ушло в невообразимое навсегда и все же присутствовало здесь, как немая, странно леденящая угроза. Позднее, на фронте, я был свидетелем бесчисленных смертей и испытывал при этом не больше, чем испытывал бы, попав на бойню, – но этого первого мертвеца я никогда не забуду, как не забывают все, что было впервые. В нем воплотилась смерть. И та же смерть смотрит на меня иногда из погасших глаз душевнобольных, живая смерть, пожалуй, еще более загадочная и непостижимая, чем другая, безмолвствующая.

Только у Изабеллы это иначе.

Я вижу, как она идет по аллее, ведущей к женскому флигелю. Желтое платье из шелка раскачивается, словно колокол, вокруг ее ног, в руке она держит соломенную шляпу с плоской тульей и широкими полями.

Я встаю и иду к ней навстречу. Лицо у нее худое, и на нем выделяются только глаза и рот. Глаза серо-зеленые, очень прозрачные, а губы темно-алые, словно она чахоточная или густо их накрашила. Но глаза ее могут вдруг стать плоскими, тускло-серыми и маленькими, а губы – тонкими и горестно поджатыми, как у старой девы, которая так и не вышла замуж. Когда она такая, она – Женни, недоверчивая и несимпатичная особа, которой никак не угодишь, а когда она другая – это Изабелла. Оба образа – иллюзия, в действительности ее зовут Женевьевой Терговен, и у нее болезнь, носящая некрасивое и несколько фантастическое название – шизофрения; при ней происходит раздвоение сознания, раздвоение личности, и поэтому Женевьева – то Изабелла, то Женни, всегда кто-нибудь другой, а не она сама. Женевьева – одна из самых молодых в этой больнице. Говорят, ее мать живет в Эльзасе, довольно богата, но мало интересуется дочерью, – по крайней мере я ни разу ее здесь не видел, с тех пор как познакомился с Женевьевой, а это было уже полтора месяца назад.

Сегодня она – Изабелла, я это сразу вижу. Тогда она живет в призрачном мире, не имеющем ничего общего с действительностью, он легкий и невесомый, и я бы не удивился, если бы порхающие повсюду лимонного цвета бабочки вдруг опустились, играя, к ней на плечи.

– Как хорошо, что ты опять здесь! – говорит она, и лицо ее сияет. – Где ты пропадаешь столько времени?

Когда она – Изабелла, она называет меня на ты. Тут нет никакого особого отличия: Изабелла тогда говорит «ты» всем на свете.

– Где ты был? – спрашивает она еще раз.

Я делаю жест в сторону ворот:

– Где-то там, за стеной...

Она смотрит на меня испытующе:

– За стеной? Зачем? Ты там что-нибудь ищешь?

– Наверное, но если бы я хоть знал что!

Она смеется:

– Брось, Рольф! Сколько ни ищи, ничего не найдешь!

При имени «Рольф» я вздрагиваю. К сожалению, Изабелла частенько меня так называет. Ведь она и себя и меня принимает за кого-то другого, притом не всегда за одно и то же лицо. То я Рольф, то Рудольф, а однажды появился еще какой-то Рауль. Рольф – это, видимо, некий скучный покровитель, я терпеть его не могу; Рауль – что-то вроде соблазнителя; но больше всего я люблю, когда она называет меня Рудольфом, – тогда она становится мечтательной и влюбленной. Мое настоящее имя – Людвиг Бодмер – она игнорирует. Я ей часто повторяю его, но она просто не желает считаться с ним.

В первое время вся эта путаница сбивала меня с толку, но теперь я привык. Тогда я еще держался общепринятых взглядов на душевные болезни и непременно представлял себе при этом продолжительные припадки буйства, попытки совершить убийство, бессмысленно лепечущий идиотизм – и тем поразительнее выделялась на фоне таких картин Женестьева. Вначале я едва мог поверить, что она больна, настолько постоянная путаница имен и лиц казалась у нее игрой, – иногда и теперь еще кажется, – но потом я понял, что за хрупкими построениями ее фантазии все же беззвучно притаился хаос. Его еще нет, но он подстерегает ее, и это придает Изабелле особое обаяние, тем более что ей всего двадцать лет и болезнь делает ее иногда трагически прекрасной.

– Идем, Рольф, – говорит она и берет меня под руку.

Я еще раз пытаюсь освободиться от ненавистного имени и заявляю:

– Я не Рольф, я Рудольф.

– Ты не Рудольф.

– Нет. Я Рудольф, Рудольф-единорог.

Однажды она меня так назвала. Но мне не везет. Она улыбается, как улыбаются ребяческому вздору.

– Ты не Рудольф, и ты не Рольф. Но и не тот, за кого ты себя принимаешь. А теперь пойдем, Рольф.

Я смотрю на нее. И на миг у меня опять возникает ощущение, что она не больна, а только представляется больной.

– Это скучно, – говорит она. – Отчего ты непременно хочешь всегда быть тем же самым?

– Да, отчего? – повторяю я удивленно. – Ты права: почему человек так стремится к этому? Что нам непременно хочется сохранить в себе? И почему мы о себе такого высокого мнения?

Она кивает:

– И ты, и доктор! Но ведь в конце концов ветер все развеет. Почему вы не хотите этого признать?

– Доктор тоже? – спрашиваю я.

– Да, тот, кто себя так называет. Чего только он от меня не требует! А ведь сам решительно ничего не знает. Даже того, какая бывает трава ночью, когда на нее не смотришь.

– А какая же она может быть? Наверно, серая или черная. И серебряная, если светит луна.

Изабелла смеется:

– Ну конечно! Ты тоже не знаешь. В точности как доктор.

– Так какая же она бывает?

Изабелла останавливается. Порыв ветра проносится мимо нас, а с ним вместе – пчелы и аромат цветов. Ее желтая юбка надувается парусом.

– Травы тогда просто нет, – заявляет она.

Мы идем дальше.

Пожилая женщина в больничном халате проходит мимо нас по аллее. Лицо у нее красное и блестит от слез. Двое растерявшихся родственников идут рядом с ней.

– А что же тогда есть вместо травы?

– Ничего. Только когда взглянешь, она тут как тут. Иной раз, если очень быстро обернешься, можно это уловить.

– Что именно? Что ее нет?

– Не это, а то, как она стремглав возвращается на место – трава и все, что позади нас. Предметы – точно слуги, которые ушли на танцы. Все дело в том, чтобы обернуться очень-очень быстро, и тогда успеешь еще увидеть, что их нет... Иначе они уже окажутся на месте и прикинутся, будто никогда и не исчезали.

– Кто, Изабелла? – спрашиваю я очень бережно.

– Предметы. Все, что позади тебя. Оно только и ждет, чтобы ты отвернулся и можно было бы исчезнуть!

В течение нескольких секунд я обдумываю ее слова. Вероятно, это такое ощущение, словно у тебя за спиной постоянно раскрытая бездна.

– А меня разве тоже нет, когда ты отвертываешься?

– И тебя тоже. Ничего нет.

– Ах так, – отвечаю я с некоторой обидой. – Но ведь для себя-то я все время тут? Как бы я быстро ни обернулся.

– Ты повертываешься не в ту сторону.

– Разве и при этом есть разные стороны?

– Для тебя есть, Рольф.

Я опять вздрагиваю от ненавистного имени.

– А ты сама? Как обстоит дело с тобой?

Она смотрит на меня и рассеянно улыбается, словно мы совсем незнакомы.

– Я? Меня же вообще здесь нет!

– Вот как! Но для меня ты все-таки здесь!

Выражение ее лица меняется. Она снова узнает меня.

– Правда? Почему ты не повторяешь мне этого как можно чаще?

– Я же твержу тебе это постоянно.

– Недостаточно. – Она прислоняется ко мне. Я чувствую ее дыхание и сквозь тонкий шелк платья – ее грудь. – Всегда недостаточно, – говорит она, вздохнув. – Почему этого никто не понимает? Эх вы, статуи!

Статуи, мысленно повторяю я. Что же мне еще остается? Я смотрю на нее, она прекрасна, она меня волнует, она влечет к себе, каждый раз, когда мы вместе, словно тысячи голосов начинают говорить по проводам моих артерий, а потом все вдруг обрывается, как будто все их неправильно соединили, я чувствую растерянность, и в душе остается только смятение. Душевнобольную женщину нельзя желать. А если кто-нибудь и способен, то я лично не могу. Это все равно, что желать куклу-автомат или женщину, находящуюся под гипнозом. И все-таки ее близость волнует меня.

Зеленые тени, лежащие на аллее, расступаются – и перед нами залитые солнечным светом клумбы с цветущими тюльпанами и нарциссами.

– Надень шляпу, Изабелла, – говорю я. – Врач настаивает, чтобы ты прикрывала голову.

Она бросает шляпу в цветы.

– Врач! Мало чего он хочет! Он и жениться на мне хочет, но сердце у него отощавшее. Он просто потный филин.

Не думаю, чтобы филин мог потеть. Но образ все-таки убедительный. Изабелла ступает, словно танцовщица, среди тюльпанов и садится посреди клумбы.

– А вот их ты слышишь?

– Конечно, – заявляю я с облегчением. – Каждый их услышит. Это колокола. Они звучат в фа-диез мажоре.

– Что такое фа-диез мажор?

– Такая тональность. Самая пленительная из всех тональностей.

Она раскидывает широкую юбку среди цветов.

– А во мне они теперь звонят?

Я киваю и смотрю на ее узкий затылок. Ты вся полна звоном, думаю я. Она срывает тюльпан и задумчиво разглядывает раскрывшийся цветок и мясистый стебель, на котором каплями выступает сок.

– Вот это совсем не пленительно.

– Хорошо, пусть колокола звонят в до мажоре.

– Непременно в мажоре?

– Это может быть и минор.

– А не может быть и то и другое одновременно?

– В музыке не может, – говорю я, загнанный в тупик. – В ней существуют известные принципы. Либо одно, либо другое. Или одно после другого.

– Одно после другого! – Изабелла смотрит на меня с легким презрением. – Вечно ты находишь отговорки, Рольф. Отчего?

– Да я сам не знаю. Мне самому хотелось бы, чтобы было иначе.

Она вдруг встает и отшвыривает тюльпан, который держала в руках. Одним прыжком она оказывается на дорожке и решительно отряхивает платье. Потом приподнимает его и рассматривает свои ноги. На ее лице гримаса отвращения.

– Что случилось? – испуганно спрашиваю я.

Она указывает на клумбу:

– Змеи.

Я смотрю на цветы.

– Нет там никаких змей, Изабелла.

– Есть! Вон они! – И она указывает на тюльпаны. – Разве ты не видишь, чего они хотят? Я сразу почувствовала.

– Ничего они не хотят. Цветы как цветы, – тупо настаиваю я.

– Они ко мне прикоснулись! – Изабелла дрожит от омерзения и все еще не сводит глаз с тюльпанов.

Я беру ее за плечи и повертываю так, что клумбы ей больше не видно.

– Теперь ты отвернулась, – говорю я. – Теперь их тут уже нет.

Ее грудь бурно вздымается.

– Не пускай их ко мне! Растопчи их, Рудольф!

– Да их уже нет. Ты отвернулась, и они исчезли. Как трава ночью и все предметы.

Она прислоняется ко мне. Я вдруг перестаю быть для нее Рольфом. Она прижимается лицом к моему плечу. Ей ничего не нужно объяснять: теперь я – Рудольф и должен это понимать.

– А ты уверен? – спрашивает она. И я чувствую, как ее сердце бьется возле моей руки.

– Совершенно уверен. Они исчезли. Как слуги в воскресный день.

– Не пускай их ко мне, Рудольф.

– Не пуцуй, – заверяю я ее, хотя мне не вполне ясно, что она имеет в виду. Но она уже успокаивается.

Мы медленно идем обратно. Она как-то сразу устает. Подходит сестра в мягких туфлях.

– Вам пора кушать, мадемуазель.

– Кушать? А зачем нужно то и дело есть, Рудольф?

– Чтобы не умереть.

– И опять ты лжешь, – говорит она устало, как будто безнадежно непонятливому ребенку.

– Сейчас нет. Сейчас я действительно сказал правду.

– Вот как? А камни тоже едят?

– Разве камни – живые?

– Ну конечно. Они самые живые. Настолько, что они вечны. Ты разве не знаешь, что такое кристалл?

– Только то, что нам рассказывали на уроках физики. Но, должно быть, все это вранье.

– Чистый экстаз... – шепчет Изабелла. – Совсем другое, чем те вон... – И она делает движение, словно желая повернуться к клумбам.

Сестра берет ее под руку.

– А где же ваша шляпа, мадемуазель? – спрашивает она, сделав несколько шагов и озираясь. – Подождите, я сейчас ее достану.

И она идет к клумбе, чтобы извлечь оттуда шляпу. А Изабелла торопливо возвращается ко мне, в ней появилось что-то очень мягкое.

– Не покидай меня, Рудольф! – шепчет она.

– Я тебя не покину.

– И не уходи! Мне пора. Они прислали за мной! Но ты не уходи!

– Я не уйду, Изабелла.

Сестра выудила шляпу и теперь спешит к нам на своих широких подметках, словно неотвратимая судьба. Изабелла стоит неподвижно и смотрит на меня. Кажется, будто мы прощаемся навеки. Но у меня каждый раз такое чувство, будто мы прощаемся навеки. Кто знает, в каком состоянии она ко мне вернется и узнает ли меня.

– Наденьте шляпу, мадемуазель, – говорит сестра.

Изабелла берет шляпу, и та вяло повисает на ее локте. Потом Изабелла повертывается и идет к флигелю. Она не оглядывается.

Началось все это в один мартовский день, когда Женевьева вдруг подошла ко мне в парке и заговорила, словно мы давно друг друга знаем. Такие случаи нередки – в лечебнице для душевнобольных не принято знакомить людей между собой; здесь находишься по ту сторону всяких формальностей, заговариваешь, когда хочешь, без долгих предисловий, говоришь сразу же о том, что у тебя на уме, и не беда, если собеседник не поймет, это дело второстепенное. Никто никого не старается убедить или что-нибудь доказать: люди встретились и беседуют, причем собеседники нередко говорят о совершенно разных вещах, но отлично понимают, о чем речь, именно потому, что один другого не слушает. Например, низенький кривоногий человек, папа Григорий VII, ни с кем не спорит. Ему никого не нужно убеждать в том, что он папа римский. Папа – и все, и у него немало хлопот с Генрихом Львом, Каносса недалеко, и он иногда об этом говорит. Его ничуть не смущает, что собеседник – человек, воображающий, будто у него тело стеклянное, и поэтому просит каждого, чтобы его не толкнули, у него и так уж есть трещина; и все же они разговаривают: Григорий – о короле, который должен каяться в одной сорочке, а стеклянный человек – о том, что он не выносит солнца, ибо солнце в нем отражается. Затем Григорий дает ему свое папское благословение, а стеклянный человек на миг снимает платок, защищающий его прозрачную голову от солнца, и оба раскланиваются с вежливостью былых веков. Поэтому я не удивился, когда Женевьева подошла ко мне и заговорила, я только удивился, какая она красивая, действительно настоящая Изабелла.

Она долго разговаривала со мной. Изабелла вышла в светлом меховом пальто, которое, наверное, стоило дороже двадцати надгробий с крестами из лучшего шведского гранита, в вечернем платье и золотых сандалиях. Было всего одиннадцать часов утра, и в обычном мире за стенами лечебницы никто бы не счел возможным появиться в таком наряде. Здесь же он только взволновал меня: словно какое-то существо спустилось на парашюте с неведомой планеты.

В этот день то сияло солнце, то набегал порывами дождь, дул ветер, воцарялась внезапная тишина. Все шло попеременно: один час это был март, следующий – апрель, потом сразу вклинивался кусок мая и июня. А тут еще появилась Изабелла неведомо откуда, действительно неведомо откуда, из тех областей, где стерты все границы, где искаженный свет, подобный вспыхивающему в небе беглому свету северного сияния, висит в небе, не ведающем ни дня,

ни ночи, а лишь эхо собственных лучей, отзвук отзвука, тусклый свет потустороннего и безвременных пространств.

Она вызвала во мне смятение с первой же минуты, и все преимущества были на ее стороне. Правда, я на войне растерял немало буржуазных предрассудков, однако это породило во мне лишь некоторый цинизм и отчаяние, но не дало чувства превосходства и свободы. И вот я сидел и с изумлением смотрел на нее, словно она невесома и парит в воздухе, а я лишь с трудом бреду за ней, спотыкаясь. Кроме того, в ее словах не раз сквозила странная мудрость. Только мудрость эта была как-то смещена и открывала вдруг необозримые дали, от которых начинало биться сердце; а как только хотелось эти дали удержать, их затягивали туманы и сама Изабелла была уже где-то совсем в другом месте.

Она поцеловала меня в первый же день, и сделала это так просто, что, казалось, не придавала поцелую никакого значения; и все-таки я не мог не ощутить его. Я живо ощутил этот поцелуй, и он взволновал меня, но потом волна словно ударилась о барьер рифа – и я понял, что поцелуй предназначался вовсе не мне, а кому-то другому, персонажу ее фантазии, некоему Рольфу или Рудольфу, а может быть, даже и не им, и это всего лишь имена, выброшенные на поверхность ее сознания темными подземными потоками и не имеют ни корней, ни отношения к ней самой.

С тех пор она стала почти каждое воскресенье приходить в сад, а когда шел дождь, то в часовню. Старшая сестра разрешила мне после обедни упражняться на органе, если у меня появлялось такое желание. На самом деле я не упражнялся – для этого я играю слишком плохо; я делал то же, что и с роялем: играл для себя, импровизируя, по мере сил изображал какие-то тепловатые настроения, грезы, тоску о чем-то неясном, о будущем, об исполнении мечты и о самом себе, а для всего этого не надо было особенно хорошо играть. Иногда Изабелла заходила в церковь вместе со мной и слушала. Она сидела тогда внизу, в темноте, дождь хлестал в пестрые стекла окон, звуки органа проплывали над ее темноволосой головой; я не знал, о чем она думает, и было в этом что-то необычное и немного сентиментальное, но потом вдруг вставал вопрос «зачем», вскрик, страх, безмолвие. И я смутно ощущал присущее земной твари неуловимое одиночество, когда мы оставались в пустой церкви, наедине с сумерками и звуками органа, только мы двое, словно единственные люди на свете, соединенные хмурым светом, аккордами и дождем и все же навеки разлученные, без всякого моста от одного к другому, без взаимопонимания, без слов, и только странно рдели сторожевые огоньки на границах жизни внутри нас – мы их видим и не понимаем, я по-своему, она по-своему, словно глухонемые слепцы, хотя мы не глухи и не немые, не слепы, а потому оказываемся еще беднее и оторваннее от всех. Чем именно было вызвано в ее душе желание подойти ко мне? Я этого не знал и никогда не узнаю, истоки ее желаний погребены под щебнем и оползнями, – но я все-таки не мог понять, почему эти странные отношения вызывают во мне такую смятенность: я же знал о ее болезни и знал, что видит она во мне не меня, и все же наши встречи будили тоску о чем-то неведомом, потрясали и порой делали меня то счастливым, то несчастным без всякого смысла и причины.

Ко мне подходит сестра милосердия небольшого роста:

– Старшая сестра хотела бы с вами поговорить.

Я встаю и иду за ней. Я чувствую себя довольно неловко. Может быть, кто-нибудь из сестер шпионил за нами и старшая заявит, что мне разрешается беседовать только с больными, которым за шестьдесят, или даже уволит меня, хотя главный врач и сказал, что для Изабеллы общество людей полезно.

Старшая сестра встречает меня в своей приемной. Здесь пахнет воском для натирания полов, мылом и добродетелью. Дыхание весны сюда не проникает. Старшая сестра, сухопарая

энергичная женщина, приветливо со мной здоровается; она считает меня безупречным христианином, который любит Бога и верит в силу церкви.

– Ведь скоро май, – говорит она и смотрит мне в глаза.

– Да, – отвечаю я и разглядываю непорочно белые занавески и голый блестящий пол.

– Мы подумываем, не начать ли нам служить майскую всенощную?

Я облегченно вздыхаю и молчу.

– Когда наступает май, в городских церквях каждый вечер служат всенощную, – поясняет старшая.

Я киваю. Я знаю эту всенощную: в сумерках клубится дым от ладана, поблескивает дароносица, а после службы молодежь еще прогуливается некоторое время на площадях, под старыми деревьями, где жужжат майские жуки. Правда, я никогда на эти службы не хожу, но они запомнились мне с тех времен, когда я еще не был в армии. Тогда начались мои первые романы с молодыми девушками. Все происходило втайне и было очень волнующим и невинным. Но я отнюдь не намерен являться сюда весь месяц ежедневно в восемь часов вечера и играть на органе.

– Нам хотелось бы, чтобы такая служба совершалась у нас хотя бы по воскресеньям, – заявляет старшая. – То есть по-праздничному, пусть будет органная музыка и *Te Deum* { Тебя, Бога, хвалим (*лат.*) }. Без музыки у нас и так каждый вечер читают молитвы. Но мы можем вам заплатить очень мало, – заявляет старшая. – Не больше, чем за обедню. А теперь это, вероятно, уже немного, верно?

– Да, – отвечаю я, – уже немного. Ведь в стране инфляция.

– Знаю. – Она стоит в нерешительности. – К сожалению, церковные инстанции к ней не приспособились. Они все измеряют веками. Нам приходится с этим мириться. В конце концов, это ведь делается для Бога, а не для денег. Разве не так?

– Можно делать ради того и другого, – отвечаю я. – Получится особенно удачное сочетание.

Она вздыхает:

– Мы связаны постановлением церковной администрации. А они выносятся раз в год, не чаще.

– И даже в отношении окладов господ священников, каноников и господина епископа? – осведомляюсь я.

– Этого я не знаю, – отвечает она и слегка краснеет. – Но думаю, что да.

Тем временем я принял решение.

– Сегодня вечером я занят, – заявляю я. – У нас важное деловое совещание.

– Да ведь теперь еще только апрель. Но в следующее воскресенье – или вы по воскресным дням не можете? Тогда – на неделе. Как было бы хорошо время от времени послушать полную майскую службу. Матерь Божья вам, конечно, воздаст за это.

– Определенно. Тут только возникает сложность с ужином. Восемь часов – время ужина. После службы – уже поздно, а до – всегда спешить.

– О, что касается этого... вы, конечно, можете ужинать здесь, если хотите. Его преподавание всегда кушает здесь. Может быть, это выход?

Это тот выход, к которому я и стремился. Кормят у них почти как у Эдуарда, а если я буду ужинать вместе со священником, то наверняка подадут и бутылку вина. И так как по воскресеньям абонементы у Эдуарда недействительны, это даже блестящий выход.

– Хорошо, – заявляю я, – попытаюсь. О деньгах больше говорить не будем.

Старшая облегченно вздыхает:

– Господь Бог воздаст вам сторицей.

Я иду обратно. Дорожки в саду опустели. Жду еще некоторое время, не появится ли парус из шелка. Затем колокола в городе начинают вызывать обед, и я знаю, что после обеда Изабелла ляжет спать, потом будет обход врача – словом, до четырех часов тут делать нечего. Я выхожу через главные ворота и спускаюсь с холма. Внизу лежит город со своими зелеными крышами и дымящими трубами. По обе стороны каштановой аллеи тянутся поля, на которых в будни работают тихие больные.

Лечебница эта и бесплатная и платная. Пациенты, которые платят, конечно, не обязаны работать. За полями начинается лес, в нем есть ручьи, пруды, поляны. Мальчишкой я ловил там рыбу, саламандр и бабочек. С тех пор прошло только десять лет; но все это как будто происходило в другой жизни, в давние времена, когда людское существование текло спокойно и развивалось органически, когда все совершалось в естественной последовательности, с самого младенчества. Война это перевернула: начиная с 1914 года мы живем обрывками одной жизни, обрывками второй и третьей жизни; они друг с другом не связаны, да мы и не можем их связать. Поэтому мне не так уж трудно понять Изабеллу с ее многообразными жизнями. И ей, пожалуй, это даже легче дается, чем нам: когда она живет в одной жизни, она забывает обо всех остальных. У нас же все идет вперемешку: детство, оборванное войной, годы голода и обмана, годы в окопах, жажда жизни – от всего этого что-то осталось и тревожит душу. От всего этого нельзя просто отмахнуться. Неожиданно всплывает оно на поверхность вновь и вновь, неприемлимое в своих противоречиях: безоблачное небо детства и опыт убийства, погибшая юность и цинизм преждевременного познания.

IV

Мы сидим в конторе и ждем Ризенфельда. Ужинаем гороховым супом такой густоты, что разливательная ложка стоит торчком, на второе едим мясо из того же супа: свиные ножки, свиные уши, кроме того, каждому достается по очень жирному куску свиного брюха. Есть жирное нам необходимо, чтобы предохранить свой желудок от действия алкоголя – сегодня мы ни в коем случае не должны опьянеть раньше, чем Ризенфельд. Поэтому старая фрау Кроль сама готовила и заставила нас съесть в качестве десерта еще по куску жирного голландского сыра. Ведь на карту поставлена вся будущность фирмы. Мы должны вырвать у Ризенфельда солидную партию гранитных глыб, если бы даже ради этого пришлось ползти перед ним на коленях до самого дома. Мрамор, песчаник и ракушечник у нас еще есть, но гранита, этого траурного деликатеса, ужасно не хватает.

Генриха Кроля мы предусмотрительно устранили. Эту услугу нам оказал гробовщик Вильке. Мы дали ему две бутылки водки, и он пригласил Генриха перед ужином на партию ската с бесплатной выпивкой. Генрих и попался на эту удочку: если можно что-либо получить даром, он не в силах устоять и уж тогда пьет без удержу. Кроме того, как всякий убежденный националист, он считает себя завзятым кутилой, который может выпить сколько угодно. На самом деле он способен выдержать очень немного и пьянеет сразу. Кажется, всего несколько минут назад он был готов самолично изгнать социал-демократов из рейхстага, а через мгновение уже храпит, раскрыв рот, и даже командой: «Встать, бегом марш!» – его не разбудить, особенно если он, как мы сегодня подстроили, выпьет водки на пустой желудок. Сейчас он благополучно спит в мастерской Вильке, в одном из его дубовых гробов, покаясь на мягких опилках. Из особой осторожности мы не перенесли Генриха на его собственную постель, так как он мог бы при этом проснуться. Сам Вильке сидит этажом ниже, в ателье нашего скульптора Курта Баха, и играет с ним в домино – игру эту оба любят за то, что при ней можно очень долго думать. Вместе с тем они допивают водку, оставшуюся после того, как Генрих свалился с ног, – Вильке потребовал отдать ему эту бутылку и еще одну непочатую в качестве гонорара.

За партию гранита, который мы намерены вырвать у Ризенфельда, мы, конечно, заплатить вперед не можем. Таких денег нам сразу не собрать, а держать их в банке тоже было бы безумием – они растаяли бы, как снег в июне. Поэтому мы намерены выдать Ризенфельду вексель сроком на три месяца. Другими словами, мы намерены приобрести гранит почти даром.

Разумеется, Ризенфельд не должен терпеть убыток. Эта акула, плавающая в море человеческих слез, стремится заработать, как и всякий честный делец. Поэтому он должен тот вексель, который получит от нас, дисконтировать в своем или нашем банке. Банк констатирует, что Ризенфельду мы обеспечиваем кредит в той сумме, которая в векселе указана, возьмет с него какой-то процент и оплатит вексель. А проценты за учет мы сейчас же Ризенфельду вернем. Таким образом, он полностью получит деньги за свой гранит, как будто мы ему сразу их отдали. Но и банк ничего на этом не теряет. Он тут же передаст вексель государственному банку, который тоже выплатит ему деньги, как были выплачены деньги Ризенфельду. Только в государственном банке вексель будет лежать, пока не истечет срок и он не будет представлен к оплате. Насколько ничтожной окажется его ценность тогда, можно себе представить!

Всем этим фокусам мы научились лишь с 1922 года. До того времени мы работали, как Генрих Кроль, и чуть не обанкротились. Когда мы распродали почти весь свой запас надгробий и, к нашему удивлению, ничего взамен не приобрели, кроме обесцененных счетов в банке да нескольких чемоданов с денежными знаками, которые даже не годились на то, чтобы оклеить стены нашей конторы, мы решили как можно скорее продавать наши памятники и тут же приобретать новые материалы, однако инфляция без труда всякий раз обгоняла нас. Прохо-

дило слишком много времени, пока мы получали деньги с покупателей, а курс денег падал так быстро, что даже самая выгодная сделка приводила к убыткам. И только когда мы стали платить векселями, нам удалось кое-как держаться. Да и сейчас заработок наш очень ничтожен; но хватает хотя бы на жизнь. Подобным же образом в Германии финансируется каждое предприятие, и государственный банк вынужден печатать все больше бумажных денег, вследствие чего курс падает все стремительнее. Но правительству это, видимо, тоже на руку – таким образом оно освобождается от всех своих государственных долгов. Разоряются при этом люди, оказавшиеся не в состоянии оплачивать свои покупки векселями, люди, имеющие какую-то собственность и вынужденные продавать ее, мелкие торговцы, рабочие, рантье, чьи сбережения и банковские кредиты тают на глазах, чиновники и служащие, существующие на заработную плату, на которую уже нельзя купить даже пары новых башмаков. А наживаются на всем этом спекулянты, валютные магнаты, иностранцы – они за несколько долларов, крон или злотых могут приобретать все, что угодно, – а также крупные предприниматели, фабриканты и биржевые дельцы, акции и ценности которых растут безгранично. Эти все приобретают чуть не даром. Происходит грандиозная распродажа честных доходов, сбережений, порядочности. Хищники кружат повсюду, и только тот, кто имеет возможность делать долги, спасается от них. Они исчезают сами собой.

Именно Ризенфельд всему этому научил нас в последнюю минуту перед нашим банкротством и сделал тоже паразитами великого разорения. Он принял от нас первый трехмесячный вексель, хотя мы тогда и не смогли бы гарантировать проставленную там сумму. Но Оденвэльдский завод обеспечивал вексель, и это решало дело. А мы были, конечно, глубоко благодарны Ризенфельду.

И когда он приезжал в Верденбрюк, мы старались развлекать его, словно он индийский раджа, – насколько в Верденбрюке вообще можно развлечь раджу. Курт Бах, наш скульптор, написал его портрет в красках, мы вставили его в стильную рамку, которую позолотили настоящим золотом, и торжественно преподнесли ему. Но портрет его не порадовал: Курт сделал его похожим на кандидата и священника, а на него-то наш гость походить отнюдь не желает. Наоборот, ему хочется производить впечатление загадочного соблазнителя, и он считает, что имеет такой вид, – разительный пример самообольщения при торчащем вперед брюшке и коротких кривых ножках. Но кого не поддерживает самообольщение! Разве и я, при самых заурядных способностях, не лелею мечту – особенно по вечерам, – что достигну большего и благодаря развитию моего таланта наконец найду издателя для моих произведений? И кто первый бросит камнем в кривые ноги Ризенфельда, особенно если они, что в наше время особенно важно, прикрыты брюками из настоящего английского сукна!

– Что мы с ним будем делать, Георг? – спрашиваю я. – У нас нет никаких развлечений! Простой попойкой Ризенфельда не ублажишь. У него слишком богатая фантазия и беспокойный характер. Он хочет видеть и слышать что-нибудь интересное, а если можно, то и пощупать. Однако с выбором дам дело обстоит прямо-таки безнадежно. А две-три хорошенькие женщины, которых мы знаем, едва ли захотят слушать целый вечер Ризенфельда в роли Дон Жуана 1923 года. Готовность помочь и понимание можно, к сожалению, найти лишь у некрасивых и пожилых особ.

Георг усмехается:

– Не знаю даже, хватит ли нашей наличности на сегодняшний вечер! Когда я вчера брал деньги, я ошибся относительно курса доллара – почему-то решил, что остался утренний. А когда опубликовали двенадцатичасовой, уже было поздно. Банк запирается по субботам в полдень.

– Зато сегодня ничего не изменилось.

– В «Красной мельнице» уже изменилось, сын мой. Там по воскресеньям опережают курс доллара на два дня. Одному Богу ведомо, сколько будет стоить сегодня вечером бутылка вина!

– И Богу это неведомо, – отвечаю я. – Неведомо даже самому владельцу. Он устанавливает цены, только когда зажигают электричество. Почему Ризенфельд не любит искусство – живопись, музыку, литературу? Это обошлось бы гораздо дешевле. Вход в музей до сих пор стоит двести пятьдесят марок. За эту цену мы в течение долгих часов могли бы показывать ему картины и гипсовые головы. Или музыка. Сегодня органнй концерт национальной музыки в церкви Святой Катарины.

Георг фыркает.

– Ну да, – заявляю я. – Конечно, нелепо представлять себе Ризенфельда, который слушает орган, но почему бы ему не любить хоть оперетку и легкую музыку? Мы могли бы повести его в театр – все-таки дешевле, чем этот проклятый ночной клуб.

– Вот он идет, – говорит Георг. – Спроси его.

Мы открываем дверь. В еще светлых вечерних сумерках Ризенфельд плывет вверх по лестнице. Волшебство весеннего заката не оказало на него никакого действия, это мы видим сразу. Мы приветствуем его с притворно товарищеским воодушевлением. Ризенфельд это замечает, косится на нас и плюхается в кресло.

– Бросьте ваши фокусы, – ворчит он по моему адресу.

– Да я уж и так решил бросить, – отвечаю я. – Но только мне трудно. Ведь то, что вы называете фокусами, в других местах называют хорошими манерами.

По лицу Ризенфельда пробегает короткая и злая усмешка.

– На хороших манерах нынче далеко не уедешь.

– Нет? А на чем же? – спрашиваю я, чтобы заставить его высказаться.

– Нужно иметь чугунные локти и резиновую совесть.

– Но послушайте, господин Ризенфельд, – примирительно говорит Георг, – у вас же у самого лучшие манеры на свете! Может быть, не лучшие – с буржуазной точки зрения... Но бесспорно, очень элегантные...

– Да? Очень рад, если вы не ошибаетесь! – Несмотря на свое раздражение, Ризенфельд, видимо, польщен.

– У него манеры разбойника, – вставляю я именно те слова, которых ждет от меня Георг. Мы разыгрываем эту комедию, не репетируя, словно знаем ее наизусть. – Или, скорее, пирата. К сожалению, он имеет благодаря этому успех.

При упоминании о разбойниках Ризенфельд слегка вздрагивает – пуля пролетела слишком близко. Но сравнение с пиратом примиряет его. Что и требовалось. Георг достает бутылку водки с полки, на которой стоят фарфоровые ангелы, и наливает стаканчики.

– За что будем пить? – спрашивает он.

Обычно пьют за здоровье и успехи в делах. Нам пить и за то и за другое довольно трудно. Ризенфельд слишком чувствителен: он утверждает, что для фирмы по установке надгробий это не только парадокс, в таком тосте за успехи таится и пожелание, чтобы как можно больше людей умерло. Можно было бы с таким же успехом выпить за войну и холеру. Поэтому мы теперь предоставляем формулировку ему.

Он искоса смотрит на нас, держа в руке стакан, однако молчит. После паузы вдруг бросает в полумрак комнаты:

– А что такое, в сущности, время?

Георг удивленно ставит на стол свой стаканчик.

– Перец жизни, – отвечаю я невозмутимо. Этому опытному мошеннику не поймать меня на удочку. Мы знаем эти штучки. Недаром я состою членом клуба поэтов города Верденбрюка: мы к «проклятым вопросам» привыкли.

Но Ризенфельд на меня не обращает внимания.

– А вы что думаете на этот счет, господин Кроль? – спрашивает он.

– Я ведь человек обыкновенный, – говорит Георг. – Ваше здоровье!

– Время, – настойчиво продолжает Ризенфельд, – время – это неудержимое течение, а не наше паршивое время! Время – медленная смерть.

Теперь я ставлю стаканчик на стол.

– Давайте, пожалуй, зажжем свет, – говорю я. – Что у вас было на ужин, господин Ризенфельд?

– Попридержите язык, когда разговаривают взрослые, – отвечает Ризенфельд, и я замечаю, что я чего-то не уловил. Он не хотел нас ошарашивать, он вполне искренен. Кто знает, что с ним сегодня под вечер произошло! Мне хотелось ответить ему, что время весьма важный фактор для того векселя, который ему предстоит подписать, но я предпочитаю допить свой стакан.

– Мне сейчас пятьдесят шесть, – продолжает Ризенфельд. – Но я еще отлично помню то время, когда мне было двадцать, как будто прошло всего несколько лет. А куда все это девалось? Что происходит? Просыпаешься, и вдруг оказывается, что ты – старик. Как вы это ощущаете, господин Кроль?

– Примерно также, – миролюбиво отвечает Георг. – Мне сорок, а кажется, будто все шестьдесят. Но тут виновата война.

Он врет, чтобы поддержать Ризенфельда.

– А у меня иначе, – заявляю я, чтобы тоже внести в разговор свою лепту. – И тоже из-за войны. Когда я пошел на фронт, мне было семнадцать, теперь мне двадцать пять, а ощущение такое, словно и сейчас еще семнадцать. Семнадцать и семьдесят. Служба в армии украла у меня мою молодость.

– У вас дело не в войне, – возражает Ризенфельд, который, видимо, не хочет сегодня принимать меня в расчет, ибо время, или медленная смерть, еще не так быстро настигает меня, как его. – Вы просто умственно отстали. Наоборот, война помогла вам преждевременно созреть; если бы не она, вы и теперь были бы на уровне двенадцатилетнего.

– Спасибо, – говорю я. – Вот это комплимент! В двенадцать лет каждый человек – гений. Он теряет свою оригинальность лишь с наступлением половой зрелости, которой вы, гранитный Казанова, придаете столь преувеличенное значение. А она – довольно унылый суррогат утраченной свободы духа.

Георг снова наливает нам. Мы видим, что вечер обещает быть тяжким. Необходимо извлечь Ризенфельда из бездн мировой скорби, ибо у нас нет ни малейшей охоты обмениваться философскими пошлостями. Больше всего хотелось бы, сидя под каштаном, спокойно и безмолвно распить бутылку мозельского, вместо того чтобы в «Красной мельнице» оплакивать вместе с Ризенфельдом утраченные им годы зрелой мужественности.

– Если вас интересует реальность времени, – замечаю я с тайной надеждой, – то я могу ввести вас в некое объединение, где участвуют только специалисты по этому вопросу, а именно – в клуб поэтов нашего возлюбленного родного города. Писатель Ганс Хунгерман развернул эту тему в еще не напечатанной книге, где собрано около шестидесяти стихотворений. Мы можем сейчас же туда отправиться; они собираются каждую субботу, а потом следует весьма приятная неофициальная часть.

– Дамы там присутствуют?

– Конечно, нет. Женщины, пишущие стихи, все равно что считающие лошади. Разумеется, за исключением последовательниц Сафо.

– А из чего же тогда состоит неофициальная часть? – вполне логично осведомляется Ризенфельд.

– Ругают других писателей. Особенно тех, кто имеет успех.

Ризенфельд презрительно хрюкает. Я уж впадаю в уныние, но в эту минуту у Вацек в доме напротив вспыхивает окно, словно освещенная картина в темном музее. Мы видим Лизу сквозь занавески. Она одевается, но пока стоит в одном бюстгальтере и очень коротких белых шелковых трусиках.

Ризенфельд издает носом короткий свист, точно сурок. Его космической меланхолии как не бывало. Я встаю, чтобы включить свет.

– Не зажигайте, – просит он, сопя. – Неужели вы совершенно не чувствуете поэзии?

Он подкрадывается к окну. Лиза начинает надевать через голову весьма узкое платье. Она извивается, словно змея. Ризенфельд сопит очень громко.

– Вот соблазнительное создание! Черт побери, какой зад! Мечта! Кто это?

– Купающаяся Сусанна, – поясняю я. Мне хочется деликатно дать ему понять, что мы сейчас играем роль тех похотливых старцев, которые подглядывают за ней.

– Вздор! – Путешественник с эйнштейновским комплексом не в силах оторваться от золотистого окна. – Как ее зовут, хотел бы я знать.

– Понятия не имею. Мы видим ее впервые. Сегодня в полдень она еще не жила там.

– В самом деле?

Лиза наконец надела платье и разглаживает его руками. За спиной Ризенфельда Георг наливает себе и мне. Мы быстро выпиваем наши стаканчики.

– Породистая женщина, – говорит Ризенфельд, который словно прилип к окну. – Настоящая дама, сразу видно. Вероятно, француженка.

Насколько нам известно, Лиза родом из Богемии.

– Может быть, это мадемуазель де ла Тур, – отвечаю я, чтобы еще больше разжечь Ризенфельда. – Я вчера где-то тут слышал эту фамилию.

– Вот видите! – Ризенфельд на мгновение повертывается к нам. – Я же сказал – француженка! Сразу видишь – что *je ne sais pas quoi* { В ней есть изюминка (*фр.*) }! Вы не находите, господин Кроль?

– Вы знаток – вам и карты в руки, господин Ризенфельд!

Свет в комнате Лизы гаснет. Ризенфельд опрокидывает водку в свое судорожно сжавшееся горло и снова прилипает лицом к стеклу. Через некоторое время в дверях появляется Лиза и идет по улице. Ризенфельд смотрит ей вслед.

– Какая походка! Волшебство! Она не семенит, она делает большие шаги. Настоящая пантера, и полная, и стройная! Если женщина семенит, в ней всегда разочаровываешься. Но эта – за эту я даю гарантию!

В то время как он восхищается полной и стройной пантерой, я спешно пропускаю еще стаканчик. Георг, безмолвно ухмыляясь, снова опустился в кресло. Ризенфельд оборачивается к нам. Лицо его светится в сумраке, словно бледная луна.

– Свету, господа! Чего мы еще ждем! Ринемся в жизнь!

Мы следуем за ним в сумраке теплой ночи. Я смотрю на его лягушечью спину. Если бы я мог так же легко вынырнуть из глубин моей мрачности, как этот мастер превращений, с завистью думаю я.

В «Красной мельнице» яблоку негде упасть. Мы получаем столик возле самого оркестра. Музыка и без того играет очень громко, но за нашим столом кажется просто оглушительной. Сначала мы кричим друг другу на ухо свои замечания, потом довольствуемся знаками, словно мы трио глухонемых. Танцевальная площадка так набита, что люди едва движутся. Но Ризенфельда это не смущает. Он высмотрел за стойкой бара женщину в белом шелку и устремляется к ней. Гордо толкает он ее своим острым пузом туда и сюда по танцплощадке. Она на голову выше своего кавалера и скучающим взглядом смотрит поверх него в зал, где плавают воздушные шары. А внизу Ризенфельд пылает, как Везувий. Его демон овладел им.

– А что, если подлить ему водки в вино, чтобы он поскорее насосался? – говорю я Георгу. – Ведь мальчик пьет, как дикий осел! Мы ставим уже пятую бутылку. Если так пойдет дальше – мы через два часа будем банкротами. По моим расчетам, мы уже пропили несколько надгробий. Надеюсь, он не притащит к нашему столику это белое привидение, не то нам и ее придется поить.

Георг качает головой:

– Это барменша. Ей придется вернуться за стойку.

Снова появляется Ризенфельд. Он красен и вспотел.

– Что все это перед волшебной силой фантазии, – орет он сквозь шум. – Осязаемая действительность? Пусть! Но где же поэзия? Вот сегодня вечером – темнеющее небо и раскрытое окно, тут можно было помечтать! Какая женщина!.. Вы понимаете, что я хочу сказать?

– Ясно, – отвечает Георг. – То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом и состоит романтика и идиотизм человеческой жизни. Ваше здоровье, Ризенфельд.

– Нет, я не рассуждаю так грубо, – орет Ризенфельд, стараясь перекрыть фокстрот «Ах, если б Петер это знал!». – Мои чувства деликатнее.

– Я тоже, – кричит Георг.

– Я имею в виду нечто более утонченное!

– Ладно, какое хотите утончение!

Музыка звучит в мощном крещендо. Танцевальная площадка кажется жестянкой с пестрыми сардинками. Я вдруг цепенею от неожиданности: стиснутая лапами какой-то обезьяны в мужском костюме, ко мне приближается справа, сквозь толпу танцующих, моя подруга Эрна. Она меня не видит, но я еще издали узнаю ее рыжие волосы. Без всякого стыда виснет она на плече типичного молодого спекулянта. Я продолжаю сидеть неподвижно, но у меня такое ощущение, словно я проглотил ручную гранату. Вон она танцует, эта бестия, которой посвящены целые десять стихотворений из моего ненапечатанного сборника «Пыль и звезды», а мне она уже целую неделю морочит голову, будто у нее было легкое сотрясение мозга и ей запрещено выходить. Она-де в темноте упала. Упала, да, но на грудь этого юнца; он в двубортном смокинге, на лапе, которой он поддерживает крестец Эрны, поблескивает кольцо с печаткой. А я, болван, еще сегодня послал ей под вечер букет розовых тюльпанов из нашего сада и стихотворение в три строфы, под названием «Майская всенощная Пана». Что, если она прочитала его спекулянту! Я прямо вижу, как оба они извиваются от хохота.

– Что с вами? – вопит Ризенфельд. – Вам нехорошо?

– Жарко! – ору я в ответ и чувствую, как струйки пота текут у меня по спине. Я в ярости. Если Эрна обернется, она увидит, что лицо у меня красное и потное, а мне хотелось бы сейчас во что бы то ни стало иметь вид надменный, холодный и независимый, какой и подобает иметь человеку из высшего общества. Быстро провожу носовым платком по лицу. Ризенфельд безжалостно ухмыляется, Георг это замечает.

– Вы тоже здорово вспотели, Ризенфельд, – заявляет он.

– Ну, у меня это другое! Этот пот – от жажды жизни, – кричит Ризенфельд.

– Это пот улетающего времени, – язвительно каркаю я и чувствую, как испарина солеными струйками сбегает в уголки рта.

Эрна совсем близко. Блаженным взглядом смотрит она на оркестр. Я придаю своему лицу выражение высокомерия и улыбаюсь слегка насмешливо и удивленно, а воротничок мой уже размяк.

– Да что это с вами? – вопит Ризенфельд. – Прямо кенгуру-лунатик.

Я игнорирую его. Эрна обернулась. Я равнодушно разглядываю танцующих, потом как будто случайно замечаю ее и с трудом узнаю. Небрежно поднимаю два пальца для приветствия.

– Он спятил, – вопит Ризенфельд между синкопами фокстрота «Отец небесный».

Я не отвечаю. Я буквально лишился дара речи. Эрнэ меня просто не видит.

Наконец музыка прекратилась. Площадка для танцев медленно пустеет. Эрнэ исчезает в одной из ниш.

– Вам сколько – семнадцать или семьдесят? – орет Ризенфельд.

Так как именно в это мгновение музыка смолкает, его вопрос разносится по всему залу. Несколько десятков людей смотрят на нас, и даже сам Ризенфельд оторопел. Мне хочется быстро нырнуть под стол, но потом приходит в голову, что ведь присутствующие могут это просто принять за обсуждение торговой сделки, и отвечаю холодно и громко:

– Семьдесят один доллар за штуку и ни на цент меньше.

Моя реплика немедленно вызывает у публики интерес.

– О чем речь? – осведомляется сидящий за соседним столиком человек с лицом младенца. – Всегда интересуюсь хорошим товаром. Разумеется, за наличные. Моя фамилия Ауфштейн.

– Феликс Кокс, – представляюсь я в ответ; я рад, что у меня есть время собраться с мыслями. – А товар – двадцать флаконов духов. К сожалению, вон тот господин уже купил их.

– Ш... ш... – шепчет искусственная блондинка.

Представление началось. Конферансье несет какую-то чушь и злится, что его остроты не доходят. Я отодвигаю свой стул и прячусь за Ауфштейном; почему-то конферансье, атакующие публику, всегда избирают своей мишенью именно меня, а сегодня на глазах у Эрнэ это было бы позором.

Все благополучно. Конферансье сердито уходит; и кто же появляется вдруг вместо него в белом подвенечном платье и под вуалью? Рене де ла Тур. Со вздохом облегчения я усаживаюсь, как сидел до конферансье.

Рене начинает свой дуэт. Скромно и стыдливо, высоким сопрано выводит она несколько куплетов в роли девственницы – тут же звучит бас жениха, и это вызывает сенсацию.

– Как вы находите эту даму? – спрашиваю я Ризенфельда.

– Дама хоть куда...

– Хотите с ней познакомиться? Это мадемуазель де ла Тур.

Ризенфельд смущен:

– Ла Тур? Вы же не будете уверять меня, что эта нелепая игра природы и есть та чародейка, которую я видел от вас в окне напротив?

Я решаю утверждать именно это, чтобы посмотреть, как он будет реагировать, и вдруг вижу вокруг его слоновьего носа нечто вроде ангельского сияния. Безмолвно тычет он большим пальцем в сторону двери, потом бормочет:

– Вон она, там... Эта походка! Я сразу узнал ее!

Он прав. Лиза только что вошла. Ее сопровождают два пожилых жулика, а она держится словно дама из высшего общества, по крайней мере так считает Ризенфельд.

Кажется, она едва дышит и слушает речи своих кавалеров надменно и рассеянно.

– Разве я не прав? Женщину сразу же узнаешь по походке!

– Женщин и полицейских, – усмехается Георг; но он тоже благосклонно поглядывает на Лизу.

Начинается второй номер программы. На танцевальной площадке стоит акробатка. Она молода, у нее задорное личико и красивые ноги. Она исполняет акробатический танец с сальто, стоянием на голове и высокими прыжками. Мы продолжаем незаметно наблюдать за Лизой. Она делает вид, что охотнее всего ушла бы отсюда. Конечно, это только комедия: в городе имеется всего один ночной клуб, остальное – просто рестораны, кафе или пивные. Поэтому здесь встречаешь каждого, у кого хватает денег, чтобы сюда прийти.

– Шампанского! – рывкает Ризенфельд голосом диктатора.

Я вздрагиваю, Георг тоже встревожен.

– Господин Ризенфельд, – замечаю я, – здешнее шампанское ужасная бурда.

В это мгновение я чувствую, что с пола на меня смотрит чье-то лицо. Я с удивлением оглядываюсь и вижу танцовщицу, которая так сильно перегнулась назад, что ее голова видна между ногами. Она вдруг кажется каким-то невероятно искривленным карликом.

– Шампанское заказываю я! – поясняет Ризенфельд и кивает кельнеру.

– Bravo! – восклицает лицо на полу.

Георг подмигивает мне. Он играет роль рыцаря, а я существую для более неприятных вещей – так у нас договорено. Поэтому он и отвечает:

– Если вы непременно хотите шампанского, Ризенфельд, вы получите шампанское. Но разумеется, вы наш гость.

– Исключено! Это я беру на себя! И больше ни слова! – Сейчас Ризенфельд – прямо Дон Жуан высшего класса. Он с удовлетворением смотрит на золотую головку в ведерке со льдом. Несколько дам сразу же выказывают живой интерес к нему. Я и тут не возражаю. Шампанское – это Эрне урок, она слишком скоро выбросила меня за борт. С удовлетворением пью здоровье Ризенфельда, он торжественно отвечает мне тем же.

Появляется Вилли. Этого надо было ожидать: он тут завсегда. Ауфштейн со своей компанией уходит, и нашим соседом становится Вилли. Он тут же поднимается и приветствует входящую Рене де ла Тур. С ней рядом прехорошенькая девушка в вечернем туалете. Через мгновение я узнаю акробатку. Вилли нас знакомит. Ее зовут Герда Шнейдер, и она бросает пренебрежительный взгляд на шампанское и на нас троих. Мы наблюдаем, не клонет ли на нее Ризенфельд: тогда мы на этот вечер от него отделались бы; но Ризенфельд поглощен Лизой.

– Как вы думаете, можно ее пригласить потанцевать? – спрашивает он Георга.

– Я бы вам не советовал, – дипломатически отвечает Георг. – Но, может быть, нам позднее удастся как-нибудь с ней познакомиться.

Он укоризненно смотрит на меня. Если бы я в конторе не заявил, будто мы не знаем, кто такая Лиза, все легко уладилось бы. Но разве можно было предвидеть, что Ризенфельд попадется на романтическую де ла Тур? А теперь вносить ясность в этот вопрос уже поздно. Романтикам чужд юмор.

– Вы не танцуете? – спрашивает меня акробатка.

– Плохо. У меня нет чувства ритма.

– У меня тоже. Давайте все-таки попробуем?

Мы втискиваемся в сплошную массу танцующих, и она медленно несет нас вперед.

– Ночной клуб, трое мужчин и ни одной женщины – почему это? – удивляется Герда.

– А почему бы и нет? Мой друг Георг уверяет, что если приводишь женщину в ночной клуб, то тем самым толкаешь ее на то, чтобы наставить ему рога.

– Кто это, ваш друг Георг? Тот вон, с толстым носом?

– Нет, лысый. Он сторонник гаремной системы и считает, что женщин выставлять напоказ не следует.

– Ну конечно... а вы?

– У меня никакой системы нет. Я как мякина, которую несет ветер.

– Не наступайте мне на ноги, – замечает Герда. – Никакая вы не мякина. В вас по крайней мере семьдесят кило.

Я приосаниваюсь. Нас как раз проталкивают мимо столика Эрны, и сейчас она, слава Богу, меня узнала, хотя ее голова лежит на плече спекулянта с перстнем и он вцепился в ее талию. Какое тут, к дьяволу, соблюдение синкоп! Я улыбаюсь, глядя вниз на Герду, и крепче прижимаю ее к себе. При этом наблюдаю за Эрной.

От Герды пахнет духами «Ландыш».

– Лучше отпустите-ка меня, – говорит она. – Таким способом вы все равно ничего не выиграете в глазах той рыжей дамы. А ведь вы именно к этому и стремитесь, верно?

– Нет, – вру я.

– Вам надо бы совсем не обращать на нее внимания. А вы, точно вас загипнотизировали, все время глаз с нее не сводили, а потом устраиваете вдруг эту комедию со мной. Господи, до чего же вы еще неопытны в таких делах!

Однако я стараюсь сохранить на лице притворную улыбку: только бы Эрна не заметила, что я и тут сел в калошу.

– Ничего я не подстраивал, – пытаюсь я оправдаться. – Просто мне сначала не хотелось танцевать.

Герда отстраняет меня.

– До кавалера вы тоже, как видно, не доросли! Давайте прекратим. У меня ноги болят.

Не объяснить ли ей, что я имел в виду совсем другое? Но кто знает, куда все это опять заведет меня? Лучше уж попрिдержу язык и проследую с высоко поднятой головой, хоть и пристыженный, к нашему столу.

А тем временем алкоголь успел оказать свое действие. Георг и Ризенфельд уже перешли на «ты». Имя Ризенфельда – Алекс. Не пройдет и часа, как он и мне предложит перейти на ты. Завтра утром все это будет, конечно, забыто.

Я сижу в довольно унылом настроении и жду, когда Ризенфельд наконец устанет. Танцующие пары скользят мимо в ленивом потоке шума, влекомые жадной телесной близости и стадным чувством. С вызывающим видом проплывает мимо Эрна. Она меня игнорирует, Герда подталкивает меня.

– А волосы-то крашенные, – заявляет она, и у меня возникает отвратительное чувство, что она хочет меня утешить.

Я киваю, мне кажется, я выпил достаточно. Ризенфельд наконец подзывает кельнера. Лиза ушла – теперь и его тянет прочь отсюда.

Пока мы рассчитываемся, проходит некоторое время. Ризенфельд действительно платит за шампанское; я боялся, что он бросит нас с этими четырьмя заказанными им бутылками. Мы прощаемся с Вилли, Рене де ла Тур и Гердой Шнейдер. И без того пора расходиться: музыканты укладывают инструменты. У выхода и в гардеробе давка.

Вдруг я оказываюсь рядом с Эрной. Ее кавалер, огребаясь длинными руками, пробивается к вешалке, чтобы достать ее пальто. Эрна меряет меня с головы до ног ледяным взглядом.

– Так вот где мне пришлось поймать тебя! Вероятно, ты этого не ожидал?

– Ты меня поймала? – отвечаю я опешив. – Да ведь это я тебя поймал!

– И с какими типами! – продолжает она, словно не слыша меня. – С какими-то кафешантанными певичками! Не прикасайся ко мне. Кто знает, что ты уже успел подцепить!

Но я и не пытался к ней прикоснуться.

– Здесь я по делу. А ты, как ты сюда попала?

– По делу? – Она резко хохочет. – По делу! Кто же скончался?

– Основа государства, мелкий вкладчик, – отвечаю я, и мне кажется, что это очень остроумно. – Таких хоронят здесь каждый день. Но на его надгробии – не крест, а мавзолей, чье имя – биржа.

– И такому типу, такому гуляке я доверяла, – продолжает Эрна, как будто я опять ничего не ответил. – Между нами все кончено, господин Бодмер!

Георг и Ризенфельд ведут в гардеробе бой за свои шляпы. Я вижу, что Эрна все хочет свалить на меня, хотя я ни в чем не виноват.

– Послушай, – возмущаюсь я, – а кто мне сегодня еще заявил под вечер, что не может выходить из-за адской головной боли? И кто отплясывал тут с толстым спекулянтом?

У Эрны белеет нос.

– Ах ты, низкий рифмоплет, – язвительно шипит она, словно брызгая купоросом. – Спи-сываешь стихи про покойников, и уже вообразил себя невесть кем? Научись сначала прилично зарабатывать, чтобы вывести даму в свет. Только и знаешь, что свои пикники на лоне природы! Под шелковые майские знамена! Удивительно, как это я не рыдаю от сострадания!

Шелковые знамена – это цитата из моего стихотворения, которое я сегодня послал ей. В душе я прямо-таки пошатнулся, но на лице моем – усмешка.

– Не будем отклоняться, – заявляю я. – Кто пойдет отсюда домой с двумя почтенными дельцами? А кто – с кавалером?

Эрна изумленно смотрит на меня.

– Что же, я должна, по-твоему, одна тащиться ночью по улице, как ресторанный шлюха? За кого ты меня принимаешь? Думаешь, мне очень приятно, чтобы со мной заговаривал каждый хам? Ты что – спятил?

– Незачем было вообще являться сюда.

– Ах так? Скажите пожалуйста! Ты уж намерен командовать? Мне, видите ли, выход запрещен, а тебе можно шляться где угодно. Что еще прикажешь? Может, сесть тебе чулки вязать? – Она язвительно хохочет. – Он, видите ли, лакает шампанское, а для меня хороша была и зельтерская да пиво или молодое вино – какая-нибудь паршивая кислятина?

– Не я заказал шампанское, а Ризенфельд!

– Конечно! Всегда святая невинность, эх ты, учитель! Знать тебя больше не хочу! Не обременяй меня своим обществом!

От ярости я не в силах слова вымолвить. Подходит Георг и отдает мне мою шляпу. Появляется и спекулянт Эрны. Парочка удаляется.

– Слышал? – обращаюсь я к Георгу.

– Отчасти. Зачем ты споришь с женщиной?

– Да я не собирался спорить.

Георг смеется. Как бы он ни был пьян, даже если бы пил вино ведрами, голова его всегда остается ясной.

– Не поддавайся им. Иначе пропадешь. И почему тебе непременно хочется, чтобы ты оказался прав?

– Да, – отвечаю я, – почему? Вероятно, потому, что я родился на немецкой земле. Разве у тебя никогда не бывает неприятных объяснений с женщиной?

– Конечно, бывает. Но это не мешает мне давать другим полезные советы.

Свежий воздух подействовал на Ризенфельда, как удар мягким молотом.

– Давай будем на ты, – предлагает он мне. – Мы ведь братья. Потребители смерти. – Его смех похож на лисий лай. – Меня зовут Алекс.

– Рольф, – представляюсь я в ответ, ибо отнюдь не намерен называть свое честное имя «Людвиг» при этом пьяном брудершафте на одну ночь. Для Алекса и Рольф хорош.

– Рольф? – удивляется Ризенфельд. – Вот дурацкое имя! И тебя всегда так зовут?

– Я имею право носить его в високосные годы и в послеслужебное время. Алекс – ведь тоже не бог весть что.

– Ну, ничего, – великодушно соглашается он. – У меня давно не было так хорошо на душе! Найдется у вас еще чашка кофе?

– Разумеется, – отвечает Георг. – Рольф у нас мастер варить кофе.

Пошатываясь, проходим мы в тени церкви Девы Марии и вступаем на Хакенштрассе. Впереди нас шагает, словно аист, какой-то одинокий прохожий и сворачивает в наши ворота. Это фельдфебель Кнопф, который возвращается после еженощного инспекционного обхода пивнушек. Мы следим за ним и нагоняем как раз в ту минуту, когда он мочится на черный обелиск, стоящий возле двери.

– Господин Кнопф, – заявляю я, – так не полагается.

– Вольно, – бормочет Кнопф, не повертывая головы.

– Господин фельдфебель, – начинаю я снова, – так не полагается! Это же свинство! Ведь вы в собственной квартире не будете этого делать?

Он слегка повертывает голову:

– Что? Я должен мочиться в своей гостиной? Вы рехнулись?

– Да не в вашей гостиной! У вас дома отличная уборная. Почему же вы ею не воспользуетесь? Ведь до нее отсюда десяти метров не будет!

– Вздор!

– Вы загрязняете красу нашей фирмы. Кроме того, совершаете святотатство. Ведь это же памятник, предмет, так сказать, священный.

– Он становится памятником только на кладбище, – заявляет Кнопф и деревянной походкой идет к своей двери.

– Добрый вечер, господа, наше вам.

Он делает небольшой поклон и стучается при этом затылком о дверной косяк. Затем, ворча, исчезает.

– Кто это? – спрашивает Ризенфельд, пока я ишу банку с кофе.

– Ваша противоположность. Пьяница абстрактный. Пьяница без всякой фантазии. Не нуждается ни в какой помощи извне. Ни в каких картинах, пробуждающих желания.

– Вот ничтожество! – Ризенфельд усаживается у окна. – Просто бочка с алкоголем. Человек живет мечтами. Вы этого еще не знаете?

– Нет. Я еще слишком молод.

– Вздор, вы не слишком молоды. Но вы продукт военного времени – эмоционально незрелы и уже приобрели опыт убийства.

– Мерси, – отвечаю я. – Ну как кофе?

Дурман, по-видимому, рассеивается. Мы опять перешли на вы.

– Как вы полагаете, та дама напротив уже вернулась домой? – обращается Ризенфельд к Георгу.

– Вероятно. Там ведь везде темно.

– Но темно может быть и потому, что ее еще нет. Подождем несколько минут?

– Ну конечно.

– Может быть, мы пока что обсудим наши дела, – говорю я. – Ведь остается только подписать договор. А я тем временем принесу из кухни горячего кофе.

Выхожу и даю Георгу время обработать Ризенфельда. В таких случаях лучше обходиться без свидетелей. Я сажусь на ступеньки лестницы. Из мастерской столяра Вильке доносится храп. Это, вероятно, все еще храпит Генрих Кроль, так как Вильке живет не там. Делец-националист здорово перепугается, когда очнется в гробу! Я подумываю о том, не разбудить ли его, но я слишком устал, да и начинает светать – пусть такой страх для столь храброго вояки послужит как бы железистой ванной, которая его укрепит и напомнит ему, каков бывает финал такой бодрой и веселой войны. Я слежу за часами, жду сигнала от Георга и смотрю в сад. Беззвучно поднимается утро с цветущих деревьев, словно с бледного ложа. В освещенном окне напротив стоит фельдфебель Кнопф в ночной сорочке и делает последний глоток из бутылки. Кошка трется о мои ноги. Слава тебе Господи, думаю я, воскресенье прошло.

V

Женщина в трауре робко входит в ворота и нерешительно останавливается среди двора. Я выхожу. Вероятно, она намерена заказать надгробие, решаю я и спрашиваю:

– Хотите посмотреть нашу выставку?

Она кивает, но тут же спохватывается:

– Нет, нет, пока еще не нужно.

– Можете спокойно выбрать. Покупать сейчас же не обязательно. Если хотите, я могу даже оставить вас одну.

– Нет, нет! Дело в том... Я только хотела...

Я жду. Торопить клиента в нашей профессии не имеет смысла.

После паузы женщина поясняет:

– Это для моего мужа...

Я киваю и жду дальнейшего. При этом повертываюсь к шеренге маленьких бельгийских надгробий.

– Вот красивые памятники, – заявляю я, чтобы не молчать.

– Да, конечно, но только...

Она опять смолкает на полуслове и смотрит на меня почти с мольбой...

– Я не знаю, разрешается ли... – наконец произносит она сдавленным голосом.

– Что? Поставить надгробие? А кто же вам может запретить?

– Дело в том, что могила не на кладбище...

Я смотрю на нее с удивлением.

– Священник не разрешает хоронить моего мужа на кладбище, – поясняет она торопливо, вполголоса и не глядя на меня.

– Почему же он не разрешает? – продолжаю я удивляться.

– Оттого что муж... он наложил на себя руки... – Она с трудом выговаривает слова. – Он покончил с собой. Не мог больше вынести.

Она стоит и смотрит на меня неподвижным взглядом. Она все еще испугана тем, что сказала.

– И вы говорите, его из-за этого не хотят хоронить на кладбище? – спрашиваю я.

– Да, на католическом. В освященной земле.

– Но это же нелепость! – возмущаюсь я. – Его следует хоронить в земле, которая вдвойне освящена! Никто без крайней нужды не лишит себя жизни. А вы вполне уверены, что они не разрешат?

– Да. Так сказал священник.

– Священники много чего говорят, такое уж их ремесло. А где же его хоронить, если не на кладбище?

– За пределами кладбища. По ту сторону стены. На неосвященной стороне. Или на городском кладбище. Но как это можно! Там все лежат вперемешку.

– Городское кладбище гораздо красивее католического, – заявляю я. – А католики лежат и на городском.

Она качает головой.

– Нет, это не годится. Он был человек верующий. И вот теперь... – Ее глаза вдруг наполняются слезами. – Наверно, он не сообразил, что не придется ему лежать в освященной земле.

– Он, должно быть, и не думал об этом. Но вы не огорчайтесь из-за своего священника. Я знаю тысячи очень верующих католиков, которые лежат не в освященной земле.

Она быстро повертывается ко мне:

– А где же?

– На полях сражений в России и во Франции. Там все лежат вместе, в братских могилах – католики, евреи, протестанты, и я не думаю, чтобы Господь Бог на это обижался.

– Там другое. Они пали на поле битвы. А мой муж...

Она плачет, уже не сдерживая себя. Слезы в нашем деле неизбежны, но это какие-то другие, чем обычно. Да и сама женщина напоминает тощий снопок соломы: кажется, вот-вот его унесет ветром.

– Вероятно, он в последнюю минуту пожалел о том, что сделал, – говорю я, лишь бы что-нибудь сказать. – Значит, ему все простится.

Женщина смотрит на меня. Она так изголодалась хотя бы по капельке утешения!

– Вы в самом деле так думаете?

– Конечно. Священник этого, разумеется, не знает. Знает только ваш муж. А сказать теперь уже не может.

– Священник уверяет, что смертный грех...

– Слушайте, сударыня, – прерываю я ее. – Бог гораздо милосерднее священника, поверьте мне.

Теперь я понимаю, что ее мучит: не столько эта неосвященная могила, сколько мысль, что ее муж, как самоубийца, будет теперь до скончания века гореть в геенне огненной и что, если бы его удалось похоронить на католическом кладбище, он, быть может, обрел бы спасение и отделался бы несколькими сотнями тысяч лет адского огня.

– Все случилось из-за этих денег, – продолжает она. – Они были положены в сберкассу на пять лет, до совершеннолетия дочери, поэтому он не мог снять их. Эти деньги – приданое моей дочери от первого брака. Муж был опекуном. А когда две недели назад срок наконец истек и их можно было взять, они потеряли всякую цену; жених отказался. Он надеялся, что на них можно будет купить ей хорошее приданое. Еще два года назад их хватило бы, а теперь они ничего не стоят. Дочка все плакала. Он этого не вынес. Считал, что виноват: надо было вовремя позаботиться. Но ведь они были положены на срок. Так проценты больше.

– Как же он мог позаботиться? Такие истории случаются в наши дни на каждом шагу. Он же не был банкиром.

– Нет, бухгалтером. Соседи...

– Да плюньте вы на то, что говорят соседи. Всегда только распускают злобные сплетни. Предоставьте все одному Господу Богу.

Мои слова, я это чувствую, не очень убедительны, но что еще можно сказать женщине при таких обстоятельствах? Уж, конечно, не то, что я думаю на самом деле.

Она вытирает глаза.

– Зачем я все это вам рассказала... Какое вам дело? Простите меня! Но ведь иной раз не знаешь, куда...

– Ничего, – говорю я, – мы привыкли. Ведь сюда приходят только те, кто потерял близких.

– Да... но не так...

– Нет, именно так, – поясняю я. – В наше печальное время такие случаи происходят гораздо чаще, чем вы думаете. И всегда – с людьми, у которых нет никакого выхода. С порядочными людьми. Непорядочные – те выкручиваются.

Она смотрит на меня:

– Вы считаете, что можно поставить памятник, хоть муж и будет лежать в неосвященной земле?

– Если у вас есть разрешение на гроб, то, разумеется, можно. На городском кладбище – бесспорно. Хотите, можете сейчас и надгробие выбрать, а когда все уладится – просто заберете его.

Она обводит глазами нашу продукцию, потом указывает на памятник, третий по величине.

– А сколько этот стоит?

Всегда одно и то же. Никогда бедняки не спросят сразу, что стоит самый маленький, притом делают вид, будто это происходит не из особого уважения к умершему и к смерти. Но они считают неблаговидным прежде всего осведомляться о цене на самый дешевый памятник; а если потом все же выберут его – тогда другое дело.

Я тут ни при чем, но этот кусок камня стоит сто тысяч марок. Она испуганно смотрит на меня усталыми глазами.

– Мы не можем купить такой дорогой, он стоит гораздо больше, чем...

Конечно, больше, чем то, что у них осталось.

– Возьмите вот этот маленький, – предлагаю я, – или просто могильную плиту, а не камень. Видите, вон такую, она стоит всего тридцать тысяч марок и очень красивая. Ведь вы просто хотите знать, где покоится ваш муж, и плита ничем не хуже камня.

Она разглядывает плиту из песчаника:

– Да... Но...

У нее, вероятно, не хватает денег, чтобы заплатить за квартиру, и все-таки ей не хочется покупать самый дешевый памятник – как будто бедняге мужу теперь не все равно. Если бы она раньше отнеслась к нему более чутко и меньше хныкала вместе с дочкой, он, может быть, еще жил бы на свете.

– Мы можем позолотить надпись, – замечаю я, – это придаст плите очень почтенный и благородный вид.

– А за надпись надо платить отдельно?

– Нет, она входит в общую стоимость надгробия.

Я сказал неправду. Но ничего не могу с собой поделать: уж очень эта женщина в своем черном платье похожа на жалкого воробья. Если она теперь пожелает написать длинное изречение из Библии – я сел в лужу: высечь его стоило бы дороже, чем вся плита. Но она хочет только, чтобы написали имя, фамилию и даты: 1875–1923.

Она вытаскивает из сумки когда-то измятые банкноты, которые, как видно, были потом тщательно разглажены и связаны в пачки. Я глубоко вздыхаю – плата авансом! Давно уж этого у нас не бывало. Она серьезно отсчитывает три пачки. У нее почти ничего не остается.

– Тридцать тысяч, проверьте, пожалуйста.

– Незачем. Я вижу. Все верно.

Должно быть, верно. Она столько раз их пересчитывала.

– Я хочу вам кое-что сказать, – заявляю я. – Мы поставим вам, кроме того, цементное обрамление. Могила выйдет тогда очень прилично, она как бы обведена границей.

Женщина боязливо смотрит на меня.

– Бесплатно, – уточняю я.

По ее лицу словно пробегает отблеск робкой, грустной улыбки.

– С тех пор как это случилось, со мной в первый раз говорят приветливо. Даже моя дочь... Она считает, что позор...

Женщина снова вытирает слезы. Я очень смущен и, мне кажется, похож на актера Гастона Мюнха в роли графа Траста из пьесы Зудермана «Честь», которая идет в городском театре. Чтобы успокоиться, я наливаю себе, как только она уходит, глоток водки. Потом вспоминаю, что ведь Георг еще не вернулся из банка, где он ведет переговоры с Ризенфельдом, и начинаю подозревать самого себя: может быть, я так вел себя с этой женщиной, только чтобы подкупить Господа Бога? Одно доброе дело в обмен на другое: обрамление могилы и надпись в обмен на трехмесячный вексель Ризенфельду и солидный груз гранита? Эта мысль настолько подбадривает меня, что я наливаю себе еще глоток водки. Потом вдруг замечаю на стенках обелиска следы фельдфебеля Кнопфа, притаскиваю ведро воды, чтобы их смыть, и громко ругаюсь. Однако Кнопф спит в своей каморке сном праведника.

– Только шесть недель, – говорю я разочарованно.

Георг смеется:

– Вексель, принятый к оплате через шесть недель, не такая уж плохая вещь. Банк больше не хотел давать. Кто знает, как будет тогда стоять доллар! Зато Ризенфельд обещал через месяц опять заехать. Тогда мы сможем заключить новый договор.

– Ты в это веришь?

Георг пожимает плечами:

– Почему бы и нет? Может быть, его привлечет Лиза. Он даже в банке мечтал о ней, как Петрарка о Лауре.

– Хорошо, что он не видел ее при дневном свете и вблизи.

– Это во многих случаях бывает хорошо. – Георг смущенно смолкает и смотрит на меня. – Но при чем тут Лиза? Она действительно очень недурна.

– По утрам у нее уже бывают иной раз мешки под глазами! И конечно, она не романтична. Этакая здоровенная женщина!

– Не романтична? – Георг презрительно усмехается. – А что это значит? Существует много сортов романтики. В здоровенности есть тоже своя прелесть.

Я смотрю на него испытующе. Уж не приглянулась ли она ему самому? В своих личных делах он удивительно скрытен.

– Ризенфельд, конечно, понимает под романтикой приключение с дамой из высшего общества. Не интрижку с женой мясника.

Георг качает головой:

– А в чем разница? Высший свет ведет себя в наши дни вульгарнее, чем какой-нибудь мясник.

Георг у нас специалист по высшему свету. Он выписывает и читает «Берлинер тагеблат» – главным образом чтобы следить за новостями из области искусства и из жизни светских кругов. Он превосходно информирован. Ни одна актриса не выйдет замуж без того, чтобы он об этом не узнал; каждый нашумевший развод в аристократической среде запечатлен в его памяти бриллиантовыми буквами. Ни за что не спутает он партнеров, даже после трех-четырех браков; он помнит все в точности, как будто в голове у него бухгалтерская книга. Он знает все театральные постановки, читает всю критику на них, осведомлен обо всем, что происходит на Курфюрстендамм, и не только это: он в курсе международных событий, ему известны все кинозвезды и аристократические львицы – он читает киножурналы, и приятель время от времени посылает ему из Англии «Тетлер» и другую великосветскую периодику. И долго после такого чтения он кажется просветленным. Сам он никогда не бывал в Берлине, а за границей – только в качестве солдата во время войны с Францией. Георг ненавидит свою профессию, но после смерти отца ему пришлось взять дело в свои руки – Генрих для этого слишком ограничен. Журналы и иллюстрации помогают ему переносить неудачи и разочарования, это и его слабость, и его отдых.

– Вульгарная дама из высшего общества – для изысканных знатоков, – говорю я, – не для Ризенфельда. У этого чугунного сатаны фантазия чувствительна, как мимоза.

– Ризенфельд! – На лице Георга появляется презрительная гримаса. Хозяин Оденвэльдского завода с его банальным влечением к француженкам в глазах Георга – просто ничтожный выскочка. Что известно этому одичавшему мещанину, например, о восхитительном скандале, разыгравшемся во время бракоразводного процесса графини Гомбург? Или о последней премьере, в которой выступает Элизабет Бергнер? Он даже фамилий-то этих никогда не слышал! Георг же и Готский календарь, и Словарь художников выучил чуть не наизусть. – Собственно говоря, нам следовало бы послать Лизе букет, – говорит он. – Она, сама того не зная, помогла нам.

Я снова пристально смотрю на него.

– Ну сам и посылай, – отвечаю я. – Лучше скажи мне, включил Ризенфельд в заказ хоть один отполированный со всех сторон памятник с крестом?

– Даже целых два. Вторым мы обязаны Лизе. Я обещал так его установить, чтобы он всегда был ей виден. Почему-то это кажется ему важным.

– Мы можем поставить его в конторе, перед окном. Утром, когда она встанет и солнце озарит его, он произведет на нее сильнейшее впечатление. Я могу написать на нем золотыми буквами: «Memento mori!»{ Помни о смерти! (*лат.*)} А чем кормят сегодня у Эдуарда?

– Немецким бифштексом.

– Значит, рубленое мясо. Но отчего рубленое мясо – немецкое кушанье?

– Оттого, что мы воинственный народ и даже в мирные времена разрушаем друг другу лица на дуэлях. От тебя пахнет водкой. Почему? Ведь не из-за Эрны же?

– Нет. Оттого, что нам всем суждено умереть. Меня эта мысль порой все же потрясает, хотя я узнал об этом уже довольно давно.

– Уважительная причина. Особенно при нашей профессии. А знаешь, чего мне хочется?

– Конечно. Тебе хотелось бы быть матросом на китобойном судне, или торговать копррой на Таити, или открывать Северный полюс, исследовать леса Амазонки, сделаться Эйнштейном либо шейхом Ибрагимом и чтобы в твоём гареме имелись женщины двадцати национальностей, в том числе и черкешенки, которые, говорят, так пылки, что их можно обнимать, только надев асбестовую маску.

– Это само собой разумеется. Но, кроме того, мне бы еще хотелось быть глупым, лучезарно глупым. В наше время это величайший дар.

– Глупым, как Парсифаль?

– Только чтобы поменьше от миссии Спасителя. А просто верующим, миролюбивым здоровяком, буколически глупым.

– Пойдем, – говорю я. – Ты голоден. Наша беда в том, что нет в нас ни настоящей глупости, ни истинной разумности. А вечно – середка на половине, сидим, как обезьяны, между двумя ветками. От этого устаешь, а иногда становится грустно. Человек должен знать, где его место.

– В самом деле?

– Нет, – отвечаю я. – От этого он становится только грузнее и толще. А что, если бы нам сегодня вечером пойти послушать музыку – в противовес походу в «Красную мельницу»? Будут исполнять Моцарта.

– Сегодня я собираюсь лечь пораньше, – заявляет Георг, – вот мой Моцарт. Иди один. Прими натиск добра в мужественном одиночестве. Добро тоже таит в себе опасность, оно может причинить больше разрушений, чем простенькое зло.

– Да, – соглашаюсь я. И вспоминаю утреннюю женщину, похожую на воробья.

* * *

Близится вечер. Я читаю новости о семейных событиях и вырезаю извещения о смерти. Это всегда возвращает мне веру в человечество, особенно после тех вечеров, когда нам приходится угощать наших поставщиков и агентов. Если судить по извещениям о смерти и некрологам, то можно вообразить, что человек – абсолютное совершенство, что на свете существуют только благороднейшие отцы, безупречные мужья, примерные дети, бескорыстные, приносящие себя в жертву матери, всеми оплакиваемые дедушки и бабушки, дельцы, в сравнении с которыми даже Франциск Ассизский покажется беспредельным эгоистом, любвеобильнейшие генералы, человечнейшие адвокаты, почти святые фабриканты оружия – словом, если верить некрологам, оказывается, на земле живут целые стаи ангелов без крыльев, а мы этого и не

подозревали. Любовь, которая на самом деле встречается в жизни очень редко, после чьей-нибудь смерти начинает сиять со всех сторон и попадается на каждом шагу. Только и слышишь о первоклассных добродетелях, заботливой верности, глубокой религиозности, высокой жертвенности; знают и оставшиеся, что им надлежит испытывать: горе сокрушило их, утрата невозместима, они никогда не забудут умершего! Просто воодушевляешься, читая такие слова, и следовало бы гордиться, что принадлежишь к породе существ, способных на столь благородные чувства.

Я вырезаю извещение о смерти булочника Нибура. Он изображается в нем кротким, заботливым, любящим супругом и отцом. А я сам видел, как фрау Нибур с распущенными косами мчалась прочь из дому, когда кротчайший господин Нибур гнался за ней и лупил ее ремнем от брюк; и видел руку его сына Роланда, которую заботливый папаша сломал, вышвырнув его в приступе бешенства из окна второго этажа. И когда этого изверга наконец хватил удар и он во время выпечки утренних булочек и пирожков на дрожжах наконец упал, его смерть должна бы показаться великим благодеянием для согбенной горем вдовы; но она вдруг перестает в это верить. Все содеянное Нибуром сгладила смерть. Покойный мгновенно превращается в идеал отца и мужа. Люди и без того наделены удивительным даром лгать и обманывать себя, но этот дар особенно блистает в случаях смерти, и человек называет его пиететом. Самое удивительное, что он очень скоро сам проникается верой в свои утверждения, как будто сунул в шляпу крысу, а потом сразу вытащил оттуда белоснежного кролика.

Испытала это магическое превращение и фрау Нибур, когда негодяя пекаря, ежедневно избивавшего ее, втащили по лестнице в квартиру. Но вместо того чтобы на коленях благодарить Господа Бога за то, что она наконец избавилась от мучителя, в ней после его смерти немедленно началось просветление его образа. Рыдая, бросилась она на труп супруга, и с того дня на глазах ее не просыхают слезы. Сестре же, которая осмелилась ей напомнить и постоянные побои, и неправильно сросшуюся руку Роланда, она с возмущением заявила, что все это мелочи и всему виною жара от подовой печи: Нибур-де, неустанно заботясь о благополучии семьи, работал не покладая рук, и печь действовала на него время от времени, как солнечный удар. Вдова выставила сестру и продолжала скорбеть. В обычной жизни это честная, работающая женщина, которая отлично понимает, что к чему; но сейчас Нибур ей вдруг представился таким, каким никогда не был, и она твердо уверовала, что это правда, – вот самое удивительное! Дело в том, что человек не только извечно лжет, он также извечно верит в добро, красоту и совершенство и видит их даже там, где их вовсе нет или они существуют лишь в зачатке; это вторая причина, почему извещения о смерти придают мне бодрость и делают меня оптимистом.

Я откладываю объявления о смерти Нибура к остальным семи, вырезанным мной. По понедельникам и вторникам их всегда несколько больше, чем в остальные дни. Это результат конца недели: люди празднуют, едят, пьют, ссорятся, волнуются – и сердце, артерии, мозг уже не выдерживают. Извещение фрау Нибур я кладу в ящик Генриха Кроля. Вот случай, созданный для него. Это человек прямолинейный, без всякого чувства юмора и верит, так же как и она, что смерть просветляет, – во всяком случае, верит до тех пор, пока фрау Нибур остается его клиенткой. И ему будет нетрудно разглагольствовать по адресу дорогого, незабвенного усопшего, тем более что Нибур был, так же как и Генрих, коренным завсегдаем пивной Блюме.

На сегодня моя работа окончена. Забрав очередные номера «Берлинер тагеблат» и «Тетлер», Георг Кроль удалился в свою каморку рядом с конторой. Я мог бы, конечно, еще доделать рисунок памятника павшим воинам, расписав его цветными мелками, но это успеется и завтра. Я надеваю футляр на машинку и распахиваю окно. Из Лизиной квартиры доносятся звуки патефона. Она появляется в окне, на этот раз совершенно одетая, и приветственно помахивает

огромным букетом красных роз. Затем посылает мне воздушный поцелуй. «Это Георг! – думаю я. – Значит, все-таки! Вот проныра!» Я указываю на его комнату.

Лиза высовывается из окна и каркает своим сиплым голосом через улицу:

– Сердечное спасибо за цветы! Хоть вы и траурные филины, а все же настоящие кавалеры!

Она широко разевает хищную пасть и трясется от хохота над собственной остротой. Затем достает какое-то письмо. «Уважаемая, – хрипит она, – поклонник вашей красоты осмеливается положить к вашим ногам эти розы». Корчась от смеха, она едва переводит дыхание.

– Послушайте адрес: «Цирcee с Хакенштрассе, 5». А что такое Цирцея?

– Женщина, которая превращает мужчин в свиней.

Лиза трепещет, явно польщенная. Старенький домик как будто тоже трепещет. Нет, это не Георг, размышляю я. Он еще не настолько лишился ума.

– От кого же это письмо? – осведомляюсь я.

– Подписано «Александр Ризенфельд», – хрипит Лиза. – Обратный адрес – «Кроль и сыновья». Ризенфельд! – Она чуть не рыдает. – Это что, тот маленький уродик, с которым вы были в «Красной мельнице»?

– Он не маленький и не уродик, – возражаю я. – Он сидячий великан и имеет очень мужественный вид. А кроме того, он биллиардер.

На миг лицо Лизы становится задумчивым. Потом она еще раз кивает, прощается и исчезает. Я закрываю окно. Почему-то мне вдруг приходит на память Эрн. Я начинаю тоскливо повсвистывать и лениво направляюсь к сараю, в котором работает скульптор Курт Бах.

Он сидит со своей гитарой на ступеньках крыльца. За его спиной поблескивает лев из песчаника, Курт его делает для памятника павшим воинам. Это вечно та же умирающая кошка, у которой болят зубы.

– Курт, – спрашиваю я, – если бы тебе обещали, что твое желание исполнится немедленно, чего бы ты пожелал?

– Тысячу долларов, – отвечает он не задумываясь и берет на гитаре дребезжащий аккорд.

– Фу, черт! А я-то воображал, что ты идеалист.

– Я и есть идеалист. Поэтому и желаю иметь тысячу долларов. А идеализма мне желать нечего. Его у меня хоть отбавляй. Чего мне не хватает – так это денег.

Возразить тут нечего. Логика безупречная.

– А что бы ты сделал с этими деньгами? – спрашиваю я, все еще на что-то надеясь.

– Купил бы себе несколько доходных домов и жил бы на квартирную плату.

– Стыдно! – заявляю я. – И это все? Впрочем, на квартирную плату ты бы жить не смог: она слишком низка, а повышать ее запрещено. Тебе даже на ремонт не хватало бы, и пришлось бы твои дома снова продать.

– Нет, дома, которые я купил бы, я бы придержал до тех пор, пока не кончится инфляция. Тогда квартирная плата будет опять как полагается и мне останется только получать ее. – Бах снова берет аккорд. – Дома... – мечтательно произносит он, словно речь идет о Микеланджело. – Сейчас ты уже можешь за какие-нибудь сто долларов купить дом, который стоил раньше сорок тысяч золотых марок! Вот можно было бы заработать! И почему у меня нет бездетного дядюшки в Америке!

– Да, это ужасно, – соглашаюсь я удрученно. – Как ты успел за одну ночь опуститься и стать презреннейшим материалистом? Домовладелец! А где же твоя бессмертная душа?

– Домовладелец и скульптор. – Бах выполняет блестящее глассандо. Над его головой столяр Вильке постукивает в такт молотком. Он сколачивает по сверхурочному тарифу детский гробик, святой и белый.

– Тогда мне не нужно будет делать этих ваших проклятых умирающих львов и взлетающих орлов! Довольно зверей! Зверей надо либо съесть, либо восторгаться ими! И больше ничего. Хватит с меня зверей! Особенно героических.

Он начинает играть мотив охотника из Курпфальца. Я вижу, что с ним сегодня вечером невозможно вести приличную беседу. Особенно такую, во время которой забываешь о женщинах-изменницах.

– А в чем смысл жизни? – спрашиваю я уже на ходу.

– Спать, жрать и лежать с женщиной.

Я делаю протестующий жест и иду обратно. Невольно шагаю в такт с постукиванием Вильке, потом замечаю это и меняю ритм.

В подворотне стоит Лиза. В руках у нее розы, и она сует их мне.

– На! Держи! Они мне ни к чему!

– Как так? Разве ты не воспринимаешь красоту природы?

– Слава Богу, нет. Я не корова. А Ризенфельд... – Она хрипло хохочет голосом женщины из ночного клуба. – Скажи этому мальчику, что я не из тех, кому преподносят цветы.

– А что же?

– Драгоценности, – отвечает Лиза. – Что же еще?

– Не платья?

– Платья – это потом, когда познакомишься поближе. – Она смотрит на меня, блестя глазами. – У тебя какой-то унылый вид. Хочешь, я тебя подбодрю?

– Спасибо, – отзываюсь я. – С меня и моей бодрости хватит. Отправляйся-ка лучше одна пить коктейль в «Красную мельницу».

– Я имею в виду не «Красную мельницу». Ты все еще играешь для идиотов на органе?

– Да. Откуда ты знаешь? – спрашиваю я удивленно.

– Такой есть слушок. Мне хочется, знаешь ли, хоть разок пойти с тобой в этот сумасшедший дом.

– Успеешь попасть туда и без меня!

– Ну, это мы еще посмотрим, кто попадет раньше, – заявляет Лиза и кладет цветы на одно из надгробий. – Возьми эту траву, я не могу держать ее дома. Мой старик слишком ревнивый.

– Что?

– Ясно что. Ревнив, как бритва. Да и что тут непонятного?

Я не знаю, может ли бритва ревновать, но образ убедительный.

– Если твой муж такой ревнивый, то как же ты ухитряешься по вечерам надолго уходить из дому?

– Он же по вечерам колет лошадей. Ну я и приспособливаюсь.

– А когда он не работает?

– Тогда я работаю в «Красной мельнице» гардеробщицей.

– Ты в самом деле работаешь?

– Ой, мальчик, да ты спятил? – отзывается Лиза. – Прямо как мой старик.

– А платья и драгоценности откуда?

– Все дешевое и фальшивое. – Лиза ухмыляется. – Каждый муж воображает невесть что. Так вот, бери это сено. Пошли какой-нибудь телке! По тебе сразу видно, что ты подносишь цветы.

– Плохо ты меня знаешь.

Лиза через плечо бросает мне inferнальный взгляд. Потом шагает стройными ногами в стоптанных красных шлепанцах через улицу и возвращается к себе. На одном шлепанце красный помпон, на другом он оторван.

Розы словно светятся в сумерках. Букет основательный. Ризенфельд раскошелился. Стоит не меньше пятидесяти тысяч марок, решаю я, потом настороженно озираюсь, прижимаю к себе цветы, словно вор, и уношу их в свою комнату.

Наверху у окна стоит вечер в голубом плаще. Моя комнатенка полна теней и отблесков, и вдруг одиночество, словно обухом, оглушает меня из-за угла. Я знаю, что все это вздор, и я не более одинок, чем любой бык в бычьем стаде. Но что поделаешь? Одиночество не имеет никакого отношения к тому, много у нас знакомых или мало. Мне приходит в голову, что я, пожалуй, вчера был с Эрной слишком резок. Ведь, может быть, все разъяснилось бы самым безобидным образом. Кроме того, она меня приревновала, это сквозило в каждом ее слове. А что ревность означает любовь – известно каждому.

Я бесцельно смотрю в окно, ибо знаю, что ревность не означает любовь. Но разве это в данном случае что-нибудь меняет? От сумерек путаются мысли, а с женщинами не спорят, как уверяет Георг. Я же именно это и делал! Охваченный раскаянием, вдыхаю я благоухание роз, которое превращает мою комнату в Венерину гору из «Тангейзера». Я замечаю, что растворяюсь в чувстве всезабвения, всепрощения и надежды.

Быстро набрасываю несколько строк, не перечитывая их, заклеиваю конверт, потом иду в контору, чтобы воспользоваться шелковой бумагой, в которую была завернута последняя партия фарфоровых ангелов. Я завертываю в нее розы и отправляюсь на поиски Фрица Кроля, младшего отпрыска фирмы. Ему двенадцать лет.

– Фриц, – говорю я, – хочешь заработать две тысячи?

– Да уж знаю, – отвечает Фриц. – Давайте сюда. Адрес тот же?

– Да.

Он исчезает, унося розы, – третий человек с ясной головой, которого я встречаю сегодня вечером. Все знают, чего они хотят, – Курт, Лиза, Фриц, только я не знаю. И дело не в Эрне, это я чувствую в ту минуту, когда вернуть Фрица уже нельзя. Но тогда в чем же дело? Где алтари? Где боги и где жертвы? Я решаю все же пойти на Моцарта – пусть я один и мне от музыки станет еще тяжелее.

Когда я возвращаюсь, звезды уже давно сияют в небе. Мои шаги гулко отдаются в узкой улочке, я глубоко взволнован. Поспешно распахиваю дверь конторы, вхожу и останавливаюсь, пораженный. Рядом с аппаратом «Престо» лежат розы и мое письмо, нераспечатанное, а рядом записка от Фрица: «Дама сказала, что на всем этом пора поставить крест. Привет, *Фриц*».

Поставить крест! Меткая шутка! И я стою, опозоренный до самых глубин моего существования, охваченный стыдом и яростью. Я сую записку в холодную печь. Потом усаживаюсь в свое кресло и погружаюсь в мрачную задумчивость. Мой гнев сильнее стыда, как бывает обычно, когда человеку действительно стыдно и он знает, что ему должно быть стыдно. Я пишу другое письмо, беру розы и иду в «Красную мельницу».

– Передайте это, пожалуйста, фрейлейн Герде Шнейдер, – говорю я портье, – акробатке.

Обшитый галунами человек смотрит на меня, точно я сделал ему какое-то неприличное предложение. Затем величественно тычет большим пальцем через плечо.

– Поищите себе другого пажа!

Я нахожу пажа и разъясняю ему свое поручение:

– Передайте букет во время представления.

Он обещает. Надеюсь, что Эрн там и все увидит, думаю я. Потом некоторое время брожу по городу и наконец, почувствовав усталость, возвращаюсь домой.

До меня доносится мелодичный плеск. Кнопф опять стоит перед обелиском и поливает его. Я молчу; дискутировать на эту тему бесполезно. Беру ведро воды и выливаю Кнопфу под ноги. Фельдфебель смотрит на льющуюся воду вытаращив глаза.

– Потоп... – бормочет он. – Я и не заметил, что идет дождь. – И, пошатываясь, бредет к себе.

VI

Над лесом стоит туманная багровая луна. Душно и безветренно. Стекланный человек неслышно проходит мимо. Теперь он может выйти: солнце уже не превратит его голову в зажигательное стекло. Но из осторожности он все же надел глубокие калоши – вдруг будет гроза, а она для него опаснее, чем солнце. Изабелла сидит рядом со мной на скамье против флигеля для неизлечимых душевнобольных. На ней обтягивающее фигуру платье из черного полотна, на босых ногах золотые туфли с высоким каблуком.

– Рудольф, – говорит она, – ты опять меня покинул. А в прошлый раз обещал остаться здесь. Где ты был?

Рудольф? Слава тебе Господи, думаю я: если бы она сегодня вечером назвала меня Рольфом, я бы этого не вынес. Позади – какой-то растерзанный день, и у меня такое ощущение, словно кто-то стрелял в меня из дробовика солью.

– Я тебя не покинул, – отвечаю я. – Уходил – да, но не покинул.

– А где ты был?

– Там, где-то в городе.

Я чуть не сказал: в городе у сумасшедших, но вовремя удержался.

– Зачем?

– Ах, Изабелла, и сам не знаю. Ведь делаешь очень многое, сам не зная зачем...

– Я тебя искала сегодня ночью. Светила луна – не такая, как вон та – багровая, тревожная, которая лжет, нет, другая – прохладная, ясная, ее пить можно.

– Наверное, было бы лучше, если бы я находился здесь, – отвечаю я, откидываюсь на спинку скамьи и чувствую, как от Изабеллы на меня веет покоем. – А как же можно пить луну, Изабелла?

– С водой. Очень просто. У нее вкус опала. Сначала ее даже не очень ощущаешь, только потом чувствуешь, как она начинает в тебе поблескивать. Она светит прежде всего из глаз. Но света зажигать нельзя. При свете она меркнет.

Я беру ее руку и прикладываю к своему виску. Рука у нее сухая и прохладная.

– А как ее пьют с водой? – спрашиваю я.

Изабелла отнимает у меня руку.

– Ночью нужно открыть окно и подставить под лунный свет стакан с водой – вот так. – Она вытягивает руку. – И луна попадает в него. Ее видно в нем, стакан становится светлым.

– Ты хочешь сказать – она отражается в стакане?

– Нет, не отражается. Она в нем. – Изабелла смотрит на меня. – Отражается? Что ты хочешь сказать?

– Отражение – это картина в зеркале. Можно отражаться во многих предметах, если у них гладкая поверхность. И в воде. Но это не значит, что мы в ней.

– Гладкая поверхность? – Изабелла вежливо и недоверчиво улыбается. – В самом деле? Удивительно!

– Ну конечно. Когда ты стоишь перед зеркалом, ты же видишь себя в нем.

Она снимает туфлю и смотрит на свою ногу. Ступня у нее узкая, длинная и не изуродована мозолями.

– Что ж, может быть, – отвечает она все еще с равнодушной вежливостью.

– Не может быть. Наверняка. Но то, что ты видишь, – это не ты. Это только отражение, не ты сама.

– Конечно, не я. Но где же я сама, когда я вижу свое отражение?

– Ты стоишь перед зеркалом. Иначе оно не могло бы тебя отразить.

Изабелла снова надевает туфлю и смотрит на меня.

- Ты уверен, Рудольф?
- Совершенно уверен.
- Я – нет. А что делают зеркала, когда они одни?
- Отражают то, что есть.
- А если ничего нет?
- Так не бывает. Всегда что-нибудь да есть.
- А ночью? Во время новолуния, когда совсем темно, что же тогда они отражают?
- Темноту, – отвечаю я не очень уверенно, ибо как может отражаться глубочайший мрак?

Для отражения всегда нужно хоть немного света.

- Значит, зеркала мертвы, когда совершенно темно?
 - Может быть, они спят, а когда возвращается свет – просыпаются.
- Изабелла задумчиво кивает и туго натягивает платье на коленях.

– А они видят сны? – вдруг спрашивает она.

– Кто видит сны?

– Да зеркала!

– Мне кажется, они всегда видят сны, – отвечаю я. – Они весь день только это и делают.

Им снимся мы. И снимся наоборот. То, что у нас бывает справа, в них слева, а то, что слева, – справа.

Изабелла повертывается ко мне:

– Значит, они – наша оборотная сторона?

Я соображаю. Кто знает, что такое на самом деле зеркало?

– Вот видишь, – говорит она. – Перед тем ты уверял, будто ничего там нет. А выходит, что в них наша оборотная сторона.

– Только пока мы перед ними. А когда уходим, ее уже там нет.

– Откуда ты знаешь?

– Это же видно. Когда уходишь от них и оглядываешься, нас уже там нет.

– А если они нас только прячут?

– Как они могут прятать? Они же все отражают! На то они и зеркала! Зеркало ничего не может скрыть.

Между бровей у Изабеллы появляется морщинка.

– А куда же оно тогда девается?

– Что именно?

– Да изображение! Другая сторона. Что же, оно прыгает обратно в нас?

– Этого я не знаю.

– Оно ведь не может потеряться?

– Оно и не теряется.

– Так где же оно? – настаивает Изабелла. – В зеркале?

– Нет. В зеркале его уже нет.

– Оно должно быть там. Откуда ты знаешь, что нет? Ты его не видишь.

– Другие люди тоже видят, что моего изображения там уже нет. Они видят только свое собственное, когда стоят перед зеркалом. И ничего другого.

– Они заслоняют его. Иначе где же остается мое? Оно должно быть там!

– Оно там и есть, – отвечаю я, жалея, что затеял весь этот разговор. – Когда ты подходишь к зеркалу, оно опять появляется.

Изабелла чем-то вдруг взволнована. Она становится коленями на скамью. Ее черный узкий силуэт выделяется на фоне желтых нарциссов; в сумраке душного вечера кажется, что они из серы.

– Значит, оно у них внутри, а перед тем ты говорил, что его там нет!

Она сжимает мне руку, все ее тело дрожит. Я не знаю, что мне сказать, чтобы успокоить ее. Ссылкой на физические законы ее не убедишь – она презрительно отклонила бы такие доводы. Да в эту минуту я и сам не так уж уверен в их незыблемости. Мне вдруг кажется, что в зеркалах есть действительно какая-то тайна.

– Где оно, Рудольф? – шепчет она и жметя ко мне. – Скажи мне, где оно? Неужели везде осталась какая-то часть меня? Во всех зеркалах, в которые я смотрюсь? А сколько я видела их! Не сосчитать! И неужели я в них во всех разбросана? И каждое что-то у меня отняло? Тонкий отпечаток? Тоненький ломтик меня? Неужели зеркала распилили меня, словно кусок дерева? Что же от меня тогда осталось?

Я крепко держу ее за плечи.

– Все в тебе осталось, – отвечаю я. – Наоборот, зеркала еще что-то прибавляют к человеку. Они делают этот добавок зримым и отражают кусок пространства, а в нем – озаренный кусок тебя самой.

– Меня самой? – Она все еще не выпускает моей руки. – А если все не так? Если все эти куски лежат погребенными в тысячах и тысячах зеркал? Как их вернуть? Ах, никогда их не вернешь! Они пропали, пропали навсегда! Мы стертые, мы как статуи, у которых соструганы лица. Где мое лицо? Мое первоначальное лицо? То, которое было у меня до всяких зеркал? До того, как они начали обкрадывать меня?

– Никто тебя не обкрадывал, – растерянно отвечаю я. – Зеркала ничего не крадут, они только отражают.

Грудь Изабеллы бурно вздымается. Лицо ее бледно. В прозрачных глазах поблескивает багровый отблеск луны.

– Где оно? – шепчет она. – Где всё? Где мы вообще, Рудольф? Всё бежит и проносится, как ветер, и тонет, тонет! Держи меня крепче! Не отпускай меня! Разве ты их не видишь? – Она пристально смотрит на мглистый горизонт. – Вон они летят! Все эти мертвые отражения! Они приближаются и жаждут крови! Ты не слышишь шелеста их серых крыльев? Они мечутся, как летучие мыши! Не подпускай их!

Она прижалась головой к моему плечу и трепещущим телом к моему телу. Я крепко держу ее и смотрю в вечерний сумрак, который становится все глубже, глубже. Воздух тих, но из деревьев, растущих вдоль аллеи, теперь медленно выступает темнота, точно беззвучный отряд теней. Он словно хочет окружить нас и выходит из засады, чтобы отрезать нам путь.

– Пойдем, – говорю я, – нам пора! За деревьями будет светлее. Гораздо светлее.

Но она противится и качает головой. Ее волосы касаются моего лица, они мягкие и пахнут сеном, и лицо у нее мягкое, я ощущаю тонкие косточки, подбородок и надбровные дуги и вдруг снова испытываю глубокое изумление от того, что за границами этого тесного мирка существует огромная действительность, живущая по совсем иным законам, и что эта головка, которую я без труда могу обхватить руками, видит все по-иному, чем я, – каждое дерево, каждую звезду, любые отношения между людьми и даже самое себя. В ней заключена другая вселенная. И на миг все перемешивается в моем мозгу, и я уже не знаю, что такое подлинная действительность – то, что я вижу, или то, что видит она, или то, что бывает без нас и чего мы никогда не познаем, ибо в данном случае происходит то же самое, что с зеркалами, они тут, когда мы тут, но отражают всегда только наш собственный облик. Ни за что, ни за что не узнаем мы, каковы они, когда остаются одни, и что кроется за ними; ведь они – ничто, и вместе с тем они же способны отражать, поэтому должны быть чем-то; но никогда не выдадут они своей тайны.

– Пойдем, – говорю я. – Пойдем, Изабелла. Ни один человек не знает, кто он, откуда и куда идет, но мы вместе, и это одно, что нам дано познать.

Я увлекаю ее за собой. А если все разрушится, думаю я, может быть, действительно не останется ничего, кроме этого маленького «вместе», которое ведь тоже лишь утешительный

обман, ибо когда один человек другому по-настоящему необходим, он за ним не может следовать и его поддержать, – я это испытывал не раз на фронте, глядя в мертвые лица моих товарищей. У каждого своя смерть, он должен пережить ее в одиночку, и тут никто не в силах ему помочь.

– Ты не покинешь меня? – шепчет она.

– Нет, я тебя не покину.

– Поклянись, – говорит она и останавливается.

– Клянусь, – отвечаю я, не задумываясь.

– Хорошо, Рудольф. – Она вздыхает, как будто многое теперь стало легче. – Только не забудь. Ты так часто забываешь.

– Я не забуду.

– Поцелуй меня.

Я привлекаю ее к себе. И вдруг мне становится немного не по себе, я не знаю, что мне делать, и целую ее, не разжимая сухих губ.

Она обнимает меня за шею и не дает поднять голову. Вдруг я чувствую сильный укус и отталкиваю ее. Из моей нижней губы идет кровь. Изабелла укусила... Я смотрю на девушку, пораженный. Она улыбается. И сейчас лицо у Изабеллы совсем другое. Оно злое и хитрое.

– Кровь! – шепчет она торжествуя. – Ты опять хотел меня обмануть, я тебя знаю! А теперь это тебе уже не удастся! Печать наложена. Уйти ты уже не сможешь!

– Да, уйти я уже не смогу, – смиренно отвечаю я. – Ну что ж, не возражаю. Только незачем было кидаться на меня, точно кошка. Фу, как сильно течет кровь. Ну что я скажу старшей сестре, если она меня увидит?

Изабелла хохочет.

– Ничего! – отвечает она. – И почему нужно непременно объяснять? Не будь же таким трусом!

Во рту я ощущаю тепловатый вкус крови. Платок мне уже ни к чему, рана должна сама подсохнуть. Передо мной стоит Женевьева. Она вдруг превратилась в Женни. Рот у нее маленький и безобразный, и она усмехается хитро и злобно. Начинают звонить колокола к майской всенощной. На дорожке появляется сестра. В сумерках смутно белеет ее халат.

Во время службы моя ранка подсохла, я получил причитающуюся мне тысячу марок и сижу за ужином с викарием Бодендиком. Бодендик уже снял в ризнице свое шелковое облачение. Еще четверть часа назад это была мифологическая фигура – окруженный дымом ладана, стоял он перед молящимися в блеске парчи и свечей, вознося дароносицу с телом Христовым над головами благочестивых сестер и тех душевнобольных, которые получили разрешение присутствовать на церковной службе; но сейчас, в черном поношенном сюртуке и слегка пропотевшем белом воротничке, который застегивается сзади, а не спереди, викарий просто агент Господа Бога – добродушный, полнокровный, с румяными тугими щеками и красным носом в багровых жилках, свидетельствующих о том, что он любитель вина. Хотя Бодендик этого и не помнит, но он долго был моим духовником в предвоенные годы, когда мы по распоряжению школьного начальства обязаны были каждый месяц исповедоваться и причащаться. Мальчики похитрее шли к Бодендику. Он был туг на ухо, а так как мы исповедовались шепотом, то не мог разобрать, в каких именно грехах ему каются. Поэтому он накладывал самые легкие епитимьи. Прочтешь несколько раз «Отче наш» – и очистился от любого греха, можешь играть в футбол или идти в городскую библиотеку, чтобы попытаться раздобыть там запрещенные книги. Совсем другое дело – соборный священник, к которому я однажды попал, так как очень спешил, а перед исповедальней Бодендика выстроилась длинная очередь. Соборный поп наложил на меня епитимью весьма коварного свойства: я должен был через неделю опять явиться на исповедь, и тогда он спросил меня, почему я здесь. Так как на исповеди лгать нельзя, я ска-

зал почему, и он в виде епитимьи приказал мне прочесть дома несколько десятков молитв по четкам, а через неделю опять прийти. Так и пошло. Я был почти в отчаянии, и мне уже представлялось, что я прикован цепью к соборному священнику и на всю жизнь обречен ходить к нему каждую неделю на исповедь. К счастью, через месяц сей святой человек заболел корью и ему пришлось лечь в постель. Когда пришло время идти на очередную исповедь, я отправился к Бодендику и громким голосом объяснил ему, какое создалось положение: соборный священник-де приказал мне сегодня опять исповедаться, но он заболел. Что же мне делать? Идти к нему я не могу, так как корь заразна, Бодендик решил, что я с таким же успехом могу исповедоваться и у него; исповедь – всегда исповедь, и священник – всегда священник. Я исповедался и получил свободу. Но от соборного духовника я бегал как от чумы.

Мы сидим в небольшой комнате поблизости от зала для тихих душевнобольных; комната эта не настоящая столовая: здесь стоят полки с книгами, горшок с белой геранью, несколько стульев и кресел и круглый стол. Старшая сестра прислала нам бутылку вина, и мы ждем, когда нам подадут ужин. Десять лет назад я бы никогда не поверил, что буду пить вино со своим духовником; но я бы тогда тоже ни за что не поверил, что буду убивать людей и меня за это не только не повесят, но наградят орденом, – и все-таки это случилось.

Бодендик пробует вино.

– Это вино – «Замок Рейнгартсхаузен», из поместий принца Генриха Прусского, – благоговейно констатирует он. – Старшая прислала нам очень хорошее вино. Вы в винах разбираетесь?

– Плохо, – отвечаю я.

– Научились бы. – Пища и питье – дары Господни. Следует наслаждаться ими и знать в них толк.

– Смерть, наверное, тоже дар Господень, – отвечаю я и смотрю в темный сад. Поднялся ветер и клонит черные кроны деревьев. – А разве смертью тоже следует наслаждаться и знать в ней толк?

Бодендик, ухмыляясь, смотрит на меня поверх своего стакана.

– Для христианина смерть не проблема. И не обязательно наслаждаться ею; но понять, что это такое, ему легко. Смерть – это врата к вечной жизни. Тут бояться нечего. А для многих она освобождение.

– Каким образом?

– Освобождение от болезни, страданий, одиночества и нищеты. – Бодендик делает глоток вина, задерживает его во рту и с наслаждением смакует, двигая румяными щеками.

– Знаю, – говорю я. – Освобождение от плачевной земной юдоли. А чего ради Господь Бог ее создал?

Глядя на Бодендика, в данную минуту никак не скажешь, что эта земная юдоль его особенно тяготит. Он круглый, толстый, полы сюртука задраны на спинку стула, чтобы они не смялись, придавленные его мощным задом. Таким сидит он предо мною, этот знаток потусторонних миров и земных вин, и крепко сжимает в руке стакан.

– Чего ради, говоря по правде, создал Бог эту печальную земную юдоль? – повторяю я. – Разве он не мог сразу же оставить нас в вечной жизни?

Бодендик пожимает плечами:

– Об этом вы можете прочесть в Библии. Человек, рай, грехопадение...

– Грехопадение, изгнание из рая, наследный грех и потому проклятие на сотнях тысяч поколений. Бог Библии – самый мстительный из всех богов...

– Это Бог всепрощающий, – возражает Бодендик и разглядывает вино на свет. – Это Бог любви и справедливости, он вновь и вновь готов прощать нам, он пожертвовал собственным сыном, чтобы искупить наши грехи.

– Господин викарий Бодендик, – заявляю я, вдруг ужасно разозлившись. – А почему, собственно, Бог любви и справедливости создал людей такими разными? Одного – больным и неудачником, а другого – здоровым и негодяем?

– Тот, кто здесь будет унижен, на том свете возвысится. Бог – это великая справедливость.

– Сомневаюсь, – отвечаю я. – Мне довелось знать одну женщину, которая десять лет болела раком, перенесла шесть сложнейших операций, непрерывно страдала, и, когда к тому же у нее умерло двое детей, она изверилась в Боге. Эта женщина перестала ходить в церковь, исповедоваться и причащаться и, согласно догматам церкви, умерла в состоянии смертного греха. По тем же догматам, она теперь вечно будет гореть в огне преисподней, которую создал Бог любви. Справедливо, да?

Бодендик некоторое время созерцает стакан.

– Это ваша мать? – наконец спрашивает он.

Я с удивлением смотрю на него.

– При чем тут моя мать?

– Но ведь вы говорили о своей матери, верно?

У меня перехватывает горло.

– Ну а если бы даже и так?

Он некоторое время молчит.

– Иногда достаточно одного мгновения, чтобы примириться с Богом, – бережно и проникновенно отвечает он затем. – Одного мгновения перед смертью. Одной-единственной мысли. Эта мысль может быть даже не выражена словами.

– Несколько дней назад я сказал то же самое женщине, которая впала в отчаяние. Ну а если этой одной-единственной мысли все-таки не возникло?

Бодендик смотрит на меня.

– У церкви есть свои догматы, чтобы предупреждать и воспитывать. У Бога их нет. Бог – это любовь. Кто из нас может знать, каков будет приговор Господень?

– Разве он судит?

– Мы это так называем. Но это любовь.

– Любовь, – с горечью возражаю я, – любовь, которая полна садизма. Любовь, которая терзает, обрушивает на человека всевозможные несчастья и пытается исправить жесточайшие несправедливости жизни обещанием химерического блаженства после смерти!

Бодендик улыбается:

– А вы не допускаете, что и до вас люди задавали себе те же вопросы?

– Да, бесчисленное множество людей – и поумнее меня.

– Я тоже так думаю, – добродушно соглашается Бодендик.

– Но это ничего не меняет, и я все-таки задаю их.

– Конечно, не меняет. – Бодендик наливает себе полный стакан. – Только ставьте их со всей серьезностью. Ведь сомнение – обратная сторона веры.

Я смотрю на него. Вот он сидит передо мной, несокрушимая твердыня церкви, и ничто не может поколебать ее. А за его крупной головой притаилась ночь, тревожная ночь Изабеллы, эта ночь взволнована и стучит ветром в окна, она полна вопросов, которым нет ответа. Но у Бодендика на все есть ответы.

Дверь распахнулась. На подносе нам подают ужин в круглых судках, поставленных друг на друга. Один пригнан к другому. Так обычно подают пищу в больницах. Сестра-подавальщица расстилает скатерть, кладет ножи, ложки и вилки, затем удаляется.

Бодендик снимает крышку с верхнего судка.

– Ну-с, что у нас сегодня на ужин? – с нежностью вопрошает он. – Бульон! Бульон с фри-кадельками из мозгов! Первоклассный суп! А потом красная капуста и кисло-сладкое мясо. Прямо откровение!

Он наливает полные тарелки и принимается за еду. А я уж сержусь на себя, зачем спорил с ним, и чувствую его явное превосходство, хотя оно и не имеет никакого отношения к данному вопросу. Превосходство объясняется тем, что он ничего не ищет. Он знает. Но какая цена этому знанию? Доказать он ничего не может. И все-таки он играет со мною, как ему вздумается.

Входит врач. Это не директор – это лечащий врач.

– Вы ужинаете с нами? – осведомляется Бодендик. – Тогда подсаживайтесь, а то мы вам ничего не оставим.

Врач качает головой:

– Некогда. Надвигается гроза. В таких случаях больные начинают особенно беспокоиться.

– Не похоже на грозу.

– Еще нет. Но она будет. Больные чувствуют ее заранее. Нам уже пришлось посадить кое-кого в успокаивающую ванну. Ночь предстоит тяжелая.

Бодендик раскладывает жаркое по тарелкам. Самый большой кусок он берет себе.

– Хорошо, доктор, – говорит он. – Выпейте с нами хоть стакан вина. Ведь пятнадцатилетней выдержки! Прямо дар Божий! Даже для нашего молодого язычника.

Он подмигивает мне, а я охотно вылил бы ему за его сальный воротник подливку из моей тарелки. Доктор подсаживается к столу и берет стакан с вином. Бледная сестра просовывает голову в приоткрытую дверь.

– Сейчас я не буду ужинать, сестра, – заявляет врач. – Отнесите ко мне в комнату несколько бутербродов и бутылку пива.

Врачу около тридцати пяти лет, у него темные волосы, узкое лицо, близко посаженные глаза и большие торчащие уши. Его фамилия Вернике. Гвидо Вернике, и он свое имя «Гвидо» ненавидит не менее горячо, чем я – имя «Рольф».

– Как здоровье фрейлейн Терговен? – осведомляюсь я.

– Терговен? Ах да... к сожалению, не очень... Вы ничего сегодня не заметили? Каких-нибудь изменений?

– Нет. Она была как всегда. Может быть, немного возбужденнее. Но вы сказали, что это от грозы...

– Посмотрим. Тут у нас трудно предсказывать что-либо заранее.

Бодендик смеется:

– Безусловно, нельзя. Здесь – никак нельзя.

Я смотрю на него. Какой он грубый, этот христианин, думаю я. Но потом мне приходит в голову, что ведь он по профессии – духовный целитель, а в подобных случаях всегда утрачивается какая-то доля душевной чуткости за счет способности воздействия, так же как у врачей, сестер и торговцев надгробиями.

Я слышу его разговор с Вернике. У меня вдруг пропадает аппетит, и я подхожу к окну. За волнующимися кронами деревьев выросла, как стена, огромная туча с тускло-бледными краями. Я смотрю в ночь. Все вдруг кажется мне очень чужим, и сквозь привычную картину сада властно и безмолвно проступает что-то иное, дикое, и оно отбрасывает привычное, словно пустую оболочку. Мне вспоминается восклицание Изабеллы: «Где же мое первое лицо? Мое лицо до всяких зеркал?» «Да, где наше первоначальное лицо?» – размышляю я. – Первоначальный ландшафт, до того как он стал вот этим ландшафтом, воспринимаемым нашими органами чувств, парком и лесом, домом и человеком? Где лицо Бодендика, до того как он стал Бодендиком? Лицо Вернике, пока оно не связалось с его именем? Сохранилось ли у нас какое-то знание об этом? Или мы пойманы в сети понятий и слов, логики и обманщика разума, а за

ними одиноко горят первоначальные пламена, к которым у нас уже нет доступа, оттого что мы превратили их в полезное тепло, в кухонное и печное пламя, в обман и достоверность, в буржуазность и стены и, во всяком случае, в турецкую баню потеющей философии и науки. Где они? Все ли еще стоят неуловимые, чистые, недоступные, за жизнью и смертью, какими они были до того, как превратились для нас в жизнь и смерть? Или они, может быть, теперь горят только в тех, кто живет здесь, в комнатах за решетками, кто сидит на полу или неслышно крадется, уставясь перед собой невидящим взглядом, ощущая в своей крови родную грозу? Где граница, отделяющая хаос от стройного порядка, и кто может перешагнуть через нее и потом возвратиться? А если ему это и удастся – кто в состоянии запомнить то, что он увидел? Разве одно не гасит воспоминаний о другом? И кто безумен, отмечен, отвергнут – мы ли, с нашими замкнутыми и устойчивыми представлениями о мире; или те, другие, в ком хаос бушует и сверкает грозowymi вспышками; те, кто отдан в жертву беспредельности, словно они комнаты без дверей, без потолка, словно это покои с тремя стенами, в которые падают молнии и врывается буря и дождь, тогда как мы гордо расхаживаем по своим замкнутым квартирам с дверями и четырьмя стенами и воображаем себя выше тех лишь потому, что ускользнули от хаоса? Но что такое хаос? И что такое порядок? В ком они есть? И зачем? И кому удастся когда-нибудь из них выскользнуть?»

Над краем парка проносится тусклая вспышка, и лишь спустя долгое время на нее отвечает очень далекое ворчание. Подобно залитой светом каюте, наша комната плывет среди ночи, в которой нарастает угроза, точно где-то пленные гиганты сотрясают свои цепи и готовы вскочить и уничтожить наше племя карликов, заковавших их на краткий срок. Каюта, светящаяся в темноте, книги и три упорядоченных ума в этом доме, где, будто в ячейках улья, заперта загадочная стихия, дающая грозные вспышки в расстроенном мозгу больных! Что, если бы их всех пронзила внезапная молния познания и они объединились бы для мятежа; что, если бы они разбили замки, сломали болты и, как пенящаяся серая волна, плеснули бы вверх по лестнице и окружили эту освещенную комнату, эту каюту и, как волны, неудержимо помчали бы ее во мрак и в то безымянное, еще более мощное, что стоит за мраком?

Я оборачиваюсь. Служитель веры и служитель науки сидят в лучах света, озаряющего их. Для них мир – не смутная, трепетная тревога, он не ворчанье бездны, не грозные вспышки в леденящем эфире – они служители веры и науки, у них есть отвес и лот, весы и меры, у каждого свои, но это их не тревожит, они уверены в себе, у них есть имена и фамилии, которые они могут наклеивать на все, словно этикетки; они крепко спят по ночам, они стремятся к определенной цели, и этого для них достаточно, и даже ужас, даже черный занавес перед самоубийством занимает соответствующее, определенное место в их существовании, оно имеет название, классифицировано и потому стало неопасным. Убивает только безымянное или то, что взорвало свое имя.

– Молнии, – замечаю я.

Доктор поднимает голову:

– В самом деле?

Он как раз занят разъяснением недуга, именуемого шизофренией, – болезни, постигшей Изабеллу. Его смуглое лицо от увлечения слегка порозовело. Вернике рассказывает о том, как страдающие этой болезнью способны с быстротой молнии словно переноситься из одной личности в другую, – в старину таких больных считали то святыми и провидцами, то одержимыми дьяволом, и народ относился к ним с суеверным почтением. Потом он начинает философствовать о причинах болезни, и я вдруг удивляюсь, откуда ему все это известно и почему он называет шизофрению болезнью. Разве нельзя было бы с таким же успехом считать ее особым видом душевного богатства? Разве в самом нормальном человеке не сидит с десятков личностей? И не в том ли разница только и состоит, что здоровый в себе их подавляет, а больной выпускает на свободу? И кого в данном случае считать больным?

Я подхожу к столу и выпиваю свой стакан вина. Бодендик смотрит на меня с благоволением; Вернике – так, как смотрят на совершенно неинтересный случай. Только сейчас я ощущаю вкус вина: я чувствую, что оно хорошее, установившееся, вызревшее и не легкомысленное. В нем уже нет хаоса, думаю я. Вино претворило его, претворило в гармонию. Но претворило, а не просто заменило одно другим. Оно не уклонилось от хаоса. И вдруг на мгновение, сам не знаю почему, я испытываю невыразимое счастье. «Значит, можно! – говорю я себе. – Значит, можно претворить хаос! Значит, существует не только дилемма: или то, или другое. Значит, одно может привести к другому».

Бледная вспышка вновь метнулась в окно и погасла.

Врач встает.

– Началось. Мне пора идти к тем, кто заперт.

Запертые – это те больные, которые никогда не выходят из своих комнат. Они остаются в них, пока не умрут, в палатах, где мебель накрепко привинчена к полу, окна забраны решетками, а двери отпираются только снаружи. Они сидят в этих клетках, словно опасные хищники, и о них говорят с неохотой.

Вернике смотрит на меня:

– Что это у вас с губой?

– Ничего. Нечаянно прикусил во сне.

Бодендик смеется. Дверь открывается, и маленькая сестра вносит дополнительную бутылку вина и три стакана. Вернике уходит вместе с сестрой. Бодендик тянется к бутылке и наливает себе. Теперь мне понятно, почему он предложил Вернике выпить вместе с нами: ведь старшая сестра прислала нам еще бутылку. Для трех мужчин одной было бы недостаточно. Вот хитрец, думаю я. Он повторил чудо кормления народа во время Нагорной проповеди. Один стакан вина, выпитый Вернике, он превратил для себя в целую бутылку.

– Вероятно, вы больше не будете пить? – обращается ко мне викарий.

– Нет, буду, – отвечаю я и сажусь за стол. – Я вошел во вкус. Это вы меня научили. Благодарю от души.

Бодендик с кисло-сладкой улыбкой снова вынимает бутылку из ведерка со льдом. Изучает этикетку перед тем, как налить мне всего четверть стакана. Себе он наливает почти до краев. Я спокойно беру у него из рук бутылку и тоже доливаю свой стакан.

– Господин викарий, – замечаю я, – различия между нами не так уж велики.

Вдруг Бодендик начинает хохотать. Лицо его расцветает, словно роза в Троицын день.

– Будем здоровы, – говорит он елейным тоном.

Гроза ворчит и переходит с места на место. Словно беззвучные удары сабель, падают молнии. Я сижу у окна своей комнаты, передо мной порванные в клочья письма Эрны, они лежат в пустой слоновьей ноге, которую в качестве корзины для бумаг мне подарил великий путешественник Ганс Ледерман, сын портного Ледермана.

С Эрной все кончено. Для большей убедительности я перечислил все ее неприятные черты; и эмоционально, и по-человечески я вытравил ее из себя, а в виде десерта прочел несколько глав из Шопенгауэра и Ницше. Все же я предпочел бы иметь смокинг, машину и шофера и с двумя-тремя знаменитыми актрисами и несколькими сотнями миллионов в кармане заявиться в «Красную мельницу», чтобы нанести этой змее смертельный удар. Я мечтаю некоторое время о том, как здорово было бы, если бы она прочла в утренней газете сообщение, что я выиграл главный приз или был тяжело ранен, спасая детей из пылающего дома. Потом я замечаю свет в Лизиной комнате.

Она открывает окно и делает кому-то знаки. В моей комнате темно, и ей меня не видно.

Значит, она имеет в виду не меня. Лиза что-то беззвучно говорит, указывает на свою грудь, затем на наш дом и кивает. Свет в ее комнате гаснет.

Я осторожно высовываюсь из окна. Уже полночь, и соседние дома темны. Открыто только окно Георга Кроля.

Я жду и вижу, как дверь Лизиного дома открывается. Лиза выходит, торопливо озирается и перебегает улицу. На ней легкое цветастое платье, туфли она держит в руке, чтобы не топтать. В ту же минуту я слышу, как нашу парадную дверь кто-то осторожно открывает. Должно быть, Георг. Над дверью у нас звонок, поэтому, чтобы бесшумно открыть ее, нужно встать на стул и придержать звонок, а ногой нажать на ручку и отпустить – целый акробатический фокус, выполнить который можно, лишь будучи вполне трезвым. Но я знаю, что сегодня вечером Георг вполне трезв.

До меня доносится шепот, постукивание высоких каблучков. Значит, Лиза, эта тщеславная бестия, опять надела туфли, чтобы иметь более соблазнительный вид. Дверь в комнату Георга словно испускает вздох.

Значит, все-таки он! Кто бы подумал! Георг, такой тихоня! Интересно, когда он успел?

Гроза снова возвращается. Гром усиливается; вдруг, точно поток серебряных монет, дождь низвергается на мостовую. Он отскакивает от нее фонтанчиками водяной пыли, и в лицо веет свежестью. Я высовываюсь из окна и вглядываюсь в эту мокрую сумятицу капель. Водосточные трубы уже стреляют водой, непрерывно вспыхивают молнии, и при их трепетном, мгновенном свете я вижу в комнате Георга обнаженные плечи Лизы и ее руки, которые она подставляет дождю, затем вижу ее голову и слышу хриплый голос. Лысой головы Георга я не вижу.

Ворота распахиваются от удара кулаком. Насквозь мокрый, входит, пошатываясь, фельд-фебель Кнопф. С его фуражки капает. Слава Богу, думаю я, при такой погоде мне не нужно ходить за ним с ведром воды и смывать его свинство! Но мои надежды, увы, не оправдываются. Он даже не смотрит на свою жертву, на черный обелиск. Чертыхаясь и отмахиваясь от дождевых капель, словно от комаров, он спешит укрыться в доме. Вода – его извечный враг.

Я беру слоновью ногу и высыпаю ее содержимое на улицу. Потoki воды быстро уносят с собой любовную болтовню Эрны. Деньги, как всегда, победили, думаю я, хотя они ничего и не стоят. Я подхожу к другому окну, которое ведет в сад. Великое пиршество дождя там в полном разгаре, зеленая оргия оплодотворения, бесстыдная и целомудренная. При вспышках молнии я вижу могильную плиту, предназначенную самоубийце. Она отставлена к сторонке, надпись уже выгравирована и поблескивает золотом. Я закрываю окно и зажигаю свет. Внизу шепчутся Георг и Лиза. Моя комната вдруг кажется мне до ужаса пустой. Я снова распахиваю окно, вслушиваюсь в анонимное бушевание стихий и решаю потребовать от продавца Бауера в виде гонорара за последнюю неделю репетирования его сына книгу о йогох, самоотречении и самонаполнении. В ней рассказывается о том, что, делая упражнения с дыханием, можно добиться необыкновенных результатов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.